

II. ИЗ РАННИХ РЕДАКЦИЙ «ЖИЗНИ КЛИМА САМГИНА»

Предисловие Н. Н. Жегалова
Публикация Архива А. М. Горького

Горький принадлежит к числу подвижников мировой литературы, интенсивность его творчества всегда была необычайной. Особенно поражает его работа над гигантской эпопеей «Жизнь Клима Самгина» — это поистине замечательный пример писательского труда и вдохновения.

Прекрасно сознавая общественное значение задуманной «повести» (это авторское определение, очевидно, должно было обозначать развернутое, неторопливое эпическое повествование), художник не щадил своих сил и боялся только одного — умереть, не успев закончить книгу, которую он оценивал как итог своей литературной деятельности¹.

«Сижу как прикованный», — сообщает он 2 июня 1925 г. Е. П. Пешковой, приступив к созданию «Самгина»². «Роман сводит меня с ума, работаю по 10 часов в день...» — пишет он 23 марта 1926 г. А. К. Воронскому³. «Я никогда не умел жить для своего личного удовольствия, — писал Горький 15 марта 1926 г. С. Т. Григорьеву, — очень устал и для себя желал бы двух-трех лет жизни, чтоб успеть хорошо написать книгу»⁴. В письме к Роллану от 22 марта 1936 г. Горький жалуется на кровохарканье и добавляет: «А я боюсь только одного: остановится сердце раньше, чем я успею кончить роман»⁵.

В бумагах Горького сохранилась его заметка: «Да, я устал, но это не усталость возраста, а результат непрерывного длительного напряжения. „Самгин“ ест меня. Никогда еще я не чувствовал так глубоко ответственности своей пред действительностью, которую пытаюсь изобразить. Ее огромность и хаотичность таковы, что иногда кажется: схожу с ума»⁶.

И уже чувствуя дыхание смерти, Горький продиктовал слова: «Конец романа, конец героя, конец автора»⁷.

Смерть помешала великому художнику обработать «конец романа», но общие контуры финала проясняются из оставшихся набросков.

Высокое чувство ответственности, стремление к максимально правдивому и убедительному художественному воссозданию предреволюционной действительности со всей ее «огромностью и хаотичностью», естественно, заставляли писателя неоднократно переделывать текст, сокращать и дополнять его, неутомимо и придирчиво шлифовать каждое слово, тщательно обдумывать каждый психологический и бытовой нюанс. Рукописи «Жизни Клима Самгина», хранящиеся в Архиве А. М. Горького, — это целая «библиотека»: одиннадцать коробок, из которых каждая вмещает сотни больших, продолговатых — горьковских — страниц, исписанных зачастую с двух сторон, убогим почерком, и испещренных поправками и дополнениями.

Известный французский литературовед А. Мазон остроумно заметил, что беловик является «немым свидетелем» творчества, тогда как черновая рукопись представляет собой «говорящего свидетеля»⁸. К сожалению, те необычайно красноречивые «свидетельства» литературного подвига Горького, которые заключены в драгоценных рукописях «Самгина», еще очень мало изучены и освещены. Имеются следующие статьи

на данную тему: А. А. С а б у р о в. Работа Горького над первой частью романа «Жизнь Клима Самгина» («Горьковские чтения 1949—1950». М., 1951); А. Я. Т а р а р а е в. О работе М. Горького над языком романа «Жизнь Клима Самгина» («Горьковские чтения 1949—1952». М., 1954); Н. Н и к у л и н а. О трех редакциях романа Горького «Жизнь Клима Самгина» («Русская литература», 1963, № 2). Названные статьи представляют несомненный интерес (наиболее обобщающий характер носит последняя из них), но они лишь слегка приподнимают завесу над необычайно сложными, напряженными и, как мы знаем из приведенных высказываний Горького, нередко мучительными исканиями, через которые он прошел, создавая свой роман.

Эти искания, если попытаться в нескольких словах определить их основной пафос, их «генеральную линию», были направлены к углублению, заострению психологического и философского содержания романа, прежде всего, того содержания, которым наполнен образ Самгина, а также к усилению эпического характера романа, превращению его в широкое историко-революционное полотно, в эпопею. Разумеется, эти задачи были тесно связаны друг с другом. Углубляя и расширяя картину идейных битв конца XIX — начала XX в., подвергая все более интенсивному художественному исследованию духовные блуждания главного героя, писатель тем самым обогащал историческую панораму эпохи. Вводя новые массовые сцены, изображая постепенное духовное пробуждение народа, рост его сознательности, усиление его революционной активности, он показывает, как в ходе исторического процесса терпят банкротство «философия» и «мораль» буржуазного мира, как духовно деградирует индивидуалистическая личность со всеми ее гордыми претензиями, иллюзиями и тайными вожделениями; вместе с тем все шире и ярче становится в романе картина торжества великой правды века — правды марксистско-ленинских идей.

Наибольших творческих усилий потребовал от Горького, как нам кажется, образ Самгина — едва ли не самый сложный образ в литературном наследии великого художника.

Анна Зегерс, изучая работу Достоевского над романом «Идиот», заметила по поводу «кристаллизации» главной фигуры этого произведения: «Вдруг, словно в кипящем зелье чародея под действием какого-то таинственного вещества, — а веществом этим был гений писателя, — различные, но безнадежно, казалось бы, смешавшиеся черты характера выкристаллизовались во всей своей химической чистоте»⁹. Так и Самгин, прежде чем предстать перед нами в своем «каноническом» виде, «во всей своей химической чистоте», долго формировался в мастерской Горького.

Проследить «кристаллизацию» Самгина, как и других образов романа, — задача, которую еще предстоит разрешить горьковедом. Предварительно можно отметить, что по мере разработки этого образа Горький усиливал мотив исторической ответственности Самгина, все более отчетливо выражал критическое отношение к своему герою, все более безжалостно выявлял его эгоизм, его замаскированный, «еконфуженный» отход от всех традиций передовой общественной мысли, его барский анархизм, его трагикомические попытки жить в обществе и быть свободным от общества. В Самгине, каким он намечался первоначально, было, пожалуй, слишком много от традиционного в русской литературе образа интеллигентного неудачника, хотевшего, но не сумевшего найти себя на запутанных дорогах социальной жизни. Самгин в окончательном виде — это огромное, подлинно новаторское художественно-философское обобщение, это классический, мировой тип индивидуалиста, выступающего в период решающих классовых битв и демонстрирующего полное банкротство индивидуалистической психологии, банкротство философии, этики и эстетики буржуазного мира.

Усиливая мотив ответственности Самгина перед историей, перед народом, все более заостряя обвинительный приговор против «самгинщины», Горький в то же время устранял все, что могло придать этому образу оттенок прямолинейности, все, что слишком резко выявляло тайные симпатии и антипатии Самгина, вносило в его жизненную «философию» такую отчетливость и завершенность, каких она не имела. Художник устранял все, что придавало слишком программный характер мышлению этого аморфного интеллигента «средней стоимости», так боявшегося всяких программ.



А. М. ГОРЬКИЙ

Рисунок П. Д. Корина (карандаш). 9 июля 1934 г.

Музей Горького, Москва

Устранялось и все, что упрощало Самгина или вносило в его образ карикатурность. Характерно, например, что в одной из редакций Самгин, желая сделать свое лицо «интересней», прибегает к гриму,— эта деталь была впоследствии устранена.

В процессе работы над романом Горький исключал некоторые описания, сцены — сами по себе очень яркие, содержательные, интересные — потому что они, как можно предполагать, казались ему тормозящими действие, уводящими в сторону. Именно поэтому, наверное, художник пожертвовал превосходным описанием торгово-промышленного съезда или рассказом Любаши Сомовой о деревне. Впрочем, этот рассказ мог показаться автору и не совсем характерным для Любаши,— добрая, простодушная и восторженная, она, пожалуй, не стала бы так безжалостно, по-буински, с такой хладнокровной иронией рассказывать о мужиках.

Вообще, в каждом случае мы можем лишь предположительно объяснить, почему Горький отказался от того или иного штриха, внес те или иные изменения. Анализ творческого процесса, породившего такой памятник, как «Жизнь Клима Самгина», дело чрезвычайно сложное и требующее коллективных усилий.

Наша публикация не ставит своей задачей дать читателю сколько-нибудь развернутое представление о «творческой лаборатории» Горького. Мы публикуем лишь ряд фрагментов из первоначальных редакций «Самгина» — фрагментов, обладающих известной художественной цельностью; в них содержатся более или менее законченные эпизоды или интересные психологические штрихи, помогающие лучше понять формирование отдельных образов романа. Вычеркнутые Горьким отдельные слова не восстанавливаются, за исключением тех случаев, когда вычеркнутое представляет существенный интерес.

Композиционное и сюжетное соотнесение публикуемых фрагментов с каноническим текстом «Жизни Клима Самгина» представляет известные трудности. Горьким было создано три редакции романа; впрочем, мы склонны думать, что была еще одна редакция, самая первоначальная, уничтоженная автором. От одной редакции к другой, наряду с изменением идейно-психологического содержания романа, происходили всевозможные смещения, «перетасовки» эпизодов. Надо еще иметь в виду, что, кроме основных рукописей, существует значительное количество отдельных фрагментов, предназначавшихся, как можно предполагать, для разных редакций романа. Все это нередко затрудняет решение вопроса: где именно должен был находиться тот или иной отрывок, если бы он вошел в канонический текст; поэтому наши справки по данному вопросу в отдельных случаях носят предположительный характер.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Письмо А. М. Горького к Р. Роллану от 21 марта 1925 г. (АГ).

² Личный архив Е. П. Пешковой.

³ АГ.

⁴ «Литературное наследство», т. 70. М. Горький и советские писатели. Неизданная переписка, 1963, стр. 135.

⁵ М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 30, стр. 435. Далее цитаты даются по этому изданию.

⁶ АГ.

⁷ «Летопись жизни и творчества М. Горького», вып. 4, стр. 599.

⁸ А. Мазон. Парижские рукописи И. С. Тургенева. М.—Л., «Academia», 1931, стр. 10—11.

⁹ Анна Зегерс. Заметки о Достоевском и Шиллере.— «Вопросы литературы», 1963, № 4, стр. 134.

〈КЛИМ САМГИН ГРИМИРУЕТСЯ〉

Преобладающим свойством Клима Самгина было стремление к равновесию, все, что мешало ему установить это равновесие, он привык считать ненормальным и унижающим. Вспоминая сцену с Лидией, он довольно быстро убедил себя, что гнев Лидии — признак чистоты ее отношений с Макаровым. И если б он, Клим, решился сказать ей, что любит, ревнует ее...

— Это нужно сделать сейчас же.

Он подошел к зеркалу, всмотрелся в лицо свое и, найдя его недостаточно характерным, взял синий карандаш и осторожно положил под глазами тени, от этого лицо — как показалось ему — приобрело более мягкий, лирический оттенок. Было немножко стыдно, но он тотчас подумал, что ведь женщины постоянно делают это, и вспомнил, что Варавка как-то, в отсутствие матери, назвал подкрашенные лица фальшивыми вексельями. Это не заставило его стереть карандаш, он решительно пошел наверх, обдумывая, в каких словах скажет о своей любви. <...〉

Через полчаса он привел себя в порядок, — не усилием воли, а привычкой утешать себя, уже достаточно хорошо выработанной им, привычкой, за которой искусно пряталось возникающее презрение к людям.

Намочив полотенце водою, он тщательно вытер синие тени под глазами. Нет, он не романтик, он хочет быть и будет нормальным, здоровым человеком.

Ч. I, гл. 2 — ХПГ, 16-1-1, стр. 239—243; ср. т. 19, стр. 182—183.

〈САМГИН ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВИЗИТА К НЕХАЕВОЙ〉

Клим шагал по сырому, беззвучному снегу и думал, что, пожалуй, лучше будет держаться подальше от Нехаевой. Она интересна, но в ней есть что-то ненормальное, опасное, и для опыта она — не годится, и кроме этого, в ней невозможно понять ничего. Он поднял воротник пальто, сунул руки в карманы и пошел быстрее. Явилась унылая мысль: в Петербурге жить трудно, люди здесь больше знают, более дерзко думают, они вообще изощреннее, и трудно держаться даже на одном уровне с ними, а надо быть выше, такова потребность.

Вспомнилось, как вчера всезнающий Дмитрий сконфуженно рассказывал:

— Вот — чертовщина! Не мог объяснить ученику моему, откуда слово — обуза? Забыл! И — брякнул: от глагола удить. А тут вышел папаша его, чиновник Синода, и давай школить меня: съуживать, обзуживать, узы, узда.

На Кутузова Дмитрий смотрит как на апостола новой религии и тоже бормочет что-то о необходимости развития классового самосознания, о немецких социалистах, не замечая, что Кутузов грубо ухаживает за Мариной.

Марина смотрит на него жадными глазами. Впрочем, она на всех мужчин смотрит одинаково, точно купчиха на витрину гастрономического магазина. Она, почему-то, снова стала веселее [и напористей]. Поет она телом, животом. Спивак все еще загадочна. Клим пошел быстрее.

Ч. I, гл. 3.— ХПГ, 21-1-19, 59793, стр. 4; ср. т. 19, стр. 221—222.

〈САМГИН И РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИДЕИ〉

Среди всего, что Клим Самгин считал надуманным людьми и вредным для них, для него, революционные идеи были наиболее ясно чужды ему. Он органически не понимал людей, которые говорили о необходимости революции [и чем больше слушал их речи, тем более] и ни [самые] пылкие, ни [самые] солидные речи их никогда еще не трогали, ни в чем не убеждали его. Он не думая и не ощущал позыва думать на эти темы. У него не бы-

ло органа, которым другие люди гневно и чутко, иногда болезненно чутко [с болью] воспринимали подлый ужас, грязную жестокость жизни, у него не было в мозгу извилины, которая реагировала бы на раздражение идеями социальной справедливости. В его темпераменте место сострадания занимала брезгливость. И весь хаос явлений жизни он мог воспринимать и расценивать только с точки зрения удобства и полезности лично для него. Он был твердо убежден, что только это нормально, естественно и неоспоримо.

Ч. I, тл. 4. Фрагмент.— ХПГ, 21-1-32, 59777, стр. 19; текст следовал за словами Лютова: «Я — за то, чтоб одарить жизнь теплом, жаром, раскалить ее». Ср. т. 19, стр. 343.

〈ВСЕРОССИЙСКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЪЕЗД〉

Затем он очутился на хорах зала только что построенного, но еще не открытого реального училища. Внизу заседала одна из секций Всероссийского торгово-промышленного съезда. С хор Самгин видел ряды лысых и седых голов, крутые затылки, красные шеи, широкие спины. Головы покачивались, подпрыгивали, точно бычьи пузыри на взволнованной воде реки. Слушали речь гладко остриженного человека с длинными седыми усами; пронзая пальцем воздух, человек этот недоумевающим голосом спрашивал:

— А — как же тогда?.. А что ж тогда?..

— Женихи, — проворчал Иноков, сидевший рядом с Климом, записывая речь оратора в книжку, лежавшую на его колене.

Было солидно скучно. Самгин хотел уйти, но Иноков сказал:

— Менделеев, знаменитый химик.

Из ряда голов быстро поднялась большая голова, взметнулась львиная грива седых волос, и резкий голос неразборчиво крикнул коротенькую фразу, из которой слух Самгина поймал только последние слова:

— Император Александр Третий...

Оратор замолчал, сунув палец в карман жилета, и стал смотреть на председателя, который согнулся над столом в позе человека, намеренного нырнуть в воду. Стало тихо и неподвижно; головы не качались. Менделеев сел, широко распахнув полы сюртука. Тогда поднялся плотный, небольшого роста человек и очень пронзительно сказал:

— Первый раз слышу, что представитель науки опирается на авторитет царя...

Голосок оборвался на секунду и добавил четко:

— Александра Третьего.

— Савва Морозов, — шепнул Иноков и тихонько засмеялся, потирая колени ладонями, а по залу прокатилась короткая волна негромких протестующих и одобрительных возгласов, покрякиваний, искусственного кашля, мычания.

Иноков тихо и почему-то радостно шептал:

— Любопытная фигура этот Морозов! Недавно слышал я речь его в заседании ярмарочного комитета. Крепко говорил! «У нас, — говорит, — много заботится о хлебе, но мало о железе, а теперь государство не на соломе, а на железных балках надо строить». Кто-то заметил ему, что правительство серьезно заинтересовано вопросом о положении рабочих, а он: «Да, чиновников очень заботит положение во гроб всех насущных вопросов жизни, и хотят они так положить их, чтоб они возможно дольше не воскресали». Не нахожу я, что это остроумно сказано, а впечатление на слушателей — хорошее!

Клим устал от Инокова. Его раздражало удовольствие, с каким Иноков рассказывал о Морозове. Этого человека Самгин видел внизу перед заседанием, и прочно сбита фигура, монгольское лицо, быстрые глаза москов-

ского куща вызвали у него антипатию. Черты лица Саввы казались мягкими, намекали на добродушие, но в пронизательном взгляде маленьких глаз неопределенного цвета чувствовалось пренебрежение к людям. Антипатичен был и голос, взвизгивавший на высоких нотах, как сталь пилы на сучке дерева. А теперь неприятно было вспомнить, как этот голосок, после секундной паузы, зло взвизгнул, произнося имя царя. Было ясно, что Морозов и паузой и визгом хотел подчеркнуть, что знаменитому ученому особенно стыдно ссылаться на авторитет именно Александра Третьего.

— Почему вы назвали этих людей женихами? — вспомнил Клим.

— Ну, а — как же? — несколько удивленно спросил Инок. — Сватаются. Вероятно, среди них уже не один мечтает о должности президента Российской республики или о чем-нибудь в этом роде.

— Вы думаете — мечтают? — спросил Самгин недоверчиво.

Инок пожал плечами.

— Странно было бы, если б не мечтали. Хозяева. Я хозяев наблюдал. Это — особое племя. Эдакие... восходящие вверх. С десятины земли не сильно разбежишься, невысоко прыгнешь. А каждому хочется вознестись повыше. Я это понимаю, хотя — не сочувствую.

Помолчав, он сказал:

— Но и не вижу ничего плохого, если нас возьмут в железные рукавицы, заставят работать. Работаем плохо, выставка очень обнаружила это. Налоги собирать научились, а заставить работать — не могут.

Н. А. Римский-Корсаков



Сказание о невидимом граде Китеже

Эпиграф к роману

„Великий Самгин“

Не нужен.

ЭПИГРАФ К ПОВЕСТИ «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА» — МУЗЫКАЛЬНАЯ ФРАЗА ИЗ ОПЕРЫ
Н. А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА «СКАЗАНИЕ О НЕВИДИМОМ ГРАДЕ КИТЕЖЕ И ДЕВЕ
ФЕВРОНИИ». 1925 (?)

Основная мелодия сцены «Сеча при Керженце»

В окончательную редакцию эпиграф не вошел

Ноты, название оперы, имя композитора — неизвестной рукой, остальное — автограф Горького

Архив Горького, Москва

Они спустились с хор и шли по улице, жарко нагретой солнцем, мимо домов, от которых исходил запах свежей краски.

— Я, вот, знаю, что могу работать, — говорил Иноков, задумчиво покуривая. — Могу, а — не буду. Всю жизнь не буду. Почему? Заставить некому хозяина нет.

Сам ин слушал его с удивлением и не веря, что такой анархист по натуре ожет искренно желать хозяина себе.

— В сущности, я тоже этого хочу, — подумал Клим осторожно и неуверенно.

Ч. I, гл. 5. — ХПГ, 16-1-1, стр. 714—717; текст следовал через несколько строк после разговора Самгина и Инокова о царе. См. т. 19, стр. 534—535.

〈ТИМОФЕЙ ВАРАВКА И ВЕРА ПЕТРОВНА ОСМАТРИВАЮТ ВЫСТАВКУ〉

Приехали Варавка и мать.

Варавка тотчас же покотился по дорожкам Выставки, шагая мелко и быстро [он счастливо улыбался], нес живот свой с необыкновенной легкостью; пышнейшая золотая борода обращала на него всеобщее внимание, он улыбался людям, как старым знакомым, и готов был каждого из них дружески и одобрительно похлопать по плечу.

Вера Петровна в шелковом платье стального цвета, с кружевным зонтиком в руке, украшенной кольцами и тяжелым браслетом с бирюзой, следовала за Варавкой, величественно-прямая, гордо подняв голову, осматривала людей и здания в золотой лорнет; хотя ее каменное лицо было обильно напудрено, но сквозь пудру просвечивала лиловая кожа, а стекла лорнета неприятно углубляли лучистые морщинки вокруг холодных глаз.

— Я ожидала большего.

Клим с досадой видел, что оба они до смешного провинциальны, стало еще более досадно, когда Иноков заметил:

— Патрон ходит, как жадный мальчуган по магазину игрушек, а Вера Петровна — калудкой губернаторшей, которую ничто не может удивить.

Грубоватая шуточка была так метко верна, что Клим не мог рассердиться на Инокова, он даже усмехнулся невольно, а на другой день уехал домой, обремененный множеством поручений Варавки.

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 23-1-1, 59840, стр. 1; ср. т. 19, стр. 535; т. 20, стр. 8, 19—20.

〈ЕЛИЗАВЕТА СПИВАК И ЕЕ РЕБЕНОК. РАЗГОВОР Е. СПИВАК С САМГИНЫМ О ДЕКАДЕНТАХ〉

Все так же хозяйственно, но еще более властно в доме [бесшумно] распоряжалась Спивак. Спивак стала менее заметна. Взяв на себя хозяйство муз<ыкальной> школы, она с утра до трех часов дня исчезала там, возвращалась под руку с мужем; музыкант, шагая осторожно, как слепой, сухо покашливал, пожираемый туберкулезом, и сопел, крепко сжав губы, дыша через нос. Потом она гуляла в саду с большеголовым, сероглазым ребенком на руках, или везла его, в коляске, на бульвар. Мягкое, кошачье лицо ее отвердело, стало спокойней, она улыбалась сыну сияющей улыбкой. Встречая ее с ребенком, К<лим> всегда беспокожно ждал, что она скажет:

— [Ваш] Твой сын.

Но она не говорила этого, только однажды спросила, с улыбкой указывая на него глазами:

— Хорош?

Он публично объявил себя в своем
 отношении к этому разговору,
 но потом пошел ружью, как
 был удача, поборил и полюбу, такого
 поощрения кучаком другой руж-
 ки в дом Самгина и эти-
 ситетны ~~кажд~~ завод, стави
 еще раз; вобранным:

- Хи-хи

Закрывает

Самгин, не отступившись, но
 сам даюше ~~кажд~~ пре
 тей раз поимено, это отдрогивание:

- Хи-хи

И. Гераскин

и не только, и р. белх его
 невест амтрах, не т. кохуй

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТРОКИ ВТОРОЙ ЧАСТИ ПОВЕСТИ

«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»

Автограф Горького. 1928 г. <?>

Архив Горького, Москва

И не ожидая ответа, сказала:

— Очень серьезный мальчуган, не капризничает, углублен в себя, молча осваивает мир.

По вечерам она занималась с В(ерой) П(етровной) делами школы, а потом говорила о литературе, о декадентах, символистах и, подсовывая К(лиму) книжки стихов, советовала:

— Вот, попробуйте написать рецензию.

[К(лиму) и правилось и не нравилось ее отношение к нему. К. замечал покров]

— Она меня дрессирует точно кутенка, — с негодованием думал К(лим), но уже ее покровительственное и учительное отношение оскорбляло его не так, как раньше, и он прислушивался к ее настойчивым речам все внимательнее и догадывался:

— А ведь она, кажется, умная.

Написав коротенькую заметку о стихах молодых поэтов, К(лим) небрежно подал ей аккуратненькие листки.

— Вот, написал.

Сп(ивак) прочитала, положила листки на стол и, вздохнув, осторожно отодвинула их от себя пальцем. В этом было что-то обидное.

— Неплохо, — сказала она. — Но вы, конечно, понимаете, что эта тема для большой статьи. В новой поэзии, несмотря на ее задор и эпатаж, есть много положительного и оправданного. Я бы отнесла сюда [реабилитацию] проповедь возвращения к Пушкину и Тютчеву. Попытки уйти от бытовых, [гражданских], политических тем делались и раньше Гаршиным в «Attalea princers», Короленко в рассказе «Ночью». Слабые попытки, да, но не надо забывать

〈ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОКАЗЫ ИВАНА ДРОНОВА〉

Затем редактор пожаловался 〈Самгину. — *Ред.*〉 на Дронова, который недавно подсунул ему стишки:

— Мы — чиновники особых поручений

Состоим мы при особах
Для внушений
Их решений
И для искоренений
Вредных направлений
Юных поколений.

Помимо того, что стишки нецензурны, автором их был Виктор Буренин, а Дронов пытался выдать стишки за свои.

— Талантлив, ловкий репортер, но — опасен, — сказал он, вздохнув.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-1, 59840, стр. 1; ср. т. 20, стр. 13.

〈КУТУЗОВ, ЕЛИЗАВЕТА СПИВАК И САМГИН〉

— Скоро мы перешагнем в новое столетие, — заговорила Спивак, постукивая в пол носком туфли. — Когда же у нас будет революция, Степан?

— Как только вырастут революционеры.

— Революционеров достаточно, — несколько задорнее, чем хотел бы, заметил Клим, задетый недостатком внимания к нему со стороны Кутузова.

— Не нахожу, — равнодушно ответил тот, пережевывая хлеб с холодным мясом. — Я четвертый год наблюдаю людей, которых вы титузуете революционерами. Товар — дешевый. Красив(енький), а сработан плохо и на скоруую руку, как наш ситец для жителей Средней Азии. 〈...〉

— Как будто нарождается новый тип, тетя Лиза, тип революционера из страха пред революцией. Да, очень похоже, что так. Я одного встретил уже в Москве. Хитрая bestия. Мы с ним выпили, разболтались. Косоглазенький такой. Мыслишки бойкие, кривенькие.

— Лютов? — спросил Клим.

— Я фамилии не помню, — сказал Кутузов не сразу [и взглянул на него почти ласково, с интересом]. — А что это такое — Лютов?

— Человек, который похож на того, о ком вы рассказывали.

— [Желает революции, потому что боится]

Кутузов усмехнулся и, выдвинув челюсть, потер ладонью голый подбородок. Без бороды лицо его стало грубее, крупный нос и подстриженные усы делали его похожим на солдата из крестьян, отслужившего срок, и только глаза, да красивый голос выдавали интеллигента. Новой в нем была для Клима тяжеловатая шутливость, она казалась вынужденной и противоречила усталому взгляду потемневших глаз.

Спивак, размахивая над столом чайной салфеткой, отгоняя бабочку, сказала негромко:

— А ведь возможны люди, которые торопятся разыграть драму, чтоб поскорее насладиться идиллией.

— Вполне возможны, — согласился Кутузов, снова закуривая. — При нашем разнообразии личностей нет уродца, который был бы не возможен.

И снова более задорно, чем хотелось, Клим спросил:

— [Вы как будто против этого разнообразия?].

Кутузов, не дослушав вопроса, взял пустой стакан и сказал:

— Если я его брошу на пол, он разлетится на сотню осколков, очень разнообразных, а снова стакан из них не склеишь.

И снова обратился к женщине.

— [Восьмидесятники — удивительно пестрый приплод, но — вялый. И литература их весьма способствует процессу дальнейшего увядания]. Весьма любопытно, тетя Лиза, наблюдать, с какой ловкостью различные люди хватаются за историческую необходимость. С этой стороны марксизм чрезвычайно приятен для многих. Едем, Маша, на дачу, за нас работает история...

Спивак тихонько засмеялась.

— Мне кажется, что женщины [тоже] бессознательно, но все сильнее провоцируют революцию своей жадной роскоши и удовольствий, — сказала она. — В их поведении есть нечто как будто преднамеренное и демонстративное: смотрите, нищие, как дорого я стою, как много нужно для меня ненужного...

Кутузов посмотрел на нее, потом на свои широкие ладони и, лениво закинув их за шею свою, выставил локти вперед.

— Ну, это... не знаю я, так ли! Хотя, пожалуй, так, — богатеем судорожно. <...>

— <...> История требует работников, а не героев.

— Это — проповедь малых дел? — спросил Самгин, усмехаясь.

— А вы думаете — великое дело царю ноги оторвать? Вот, оторвали [ножки деду], заплатив за это десятками таких людей, как Желябов, Халтурин, Михайлов... [И] повесили носы на квинту, как будто поняв, что это невыгодно и никуда не ведет. [Внук убитого царя] Новый царь [внук его] хвалит солдат за то, что они храбро перебили рабочих в Ярославле. Ну, оторвем ноги и [внуку] новому, а какой-нибудь родственник его начнет стрелять во все стороны, перестреляет и перевешает сотни людей. За одного — сотни. [Дело невыгодное] Ведь это idiotский расчет, да и — кроме уныния, ничего не получается из такого героизма.

«Он меня принимает за гимназиста или за рабочего», — подумал Клим, взглянув на Кутузова исподлобья. И действительно Кутузов говорил куда-то в сторону, через голову его.

Вышла Спивак, [элегантно одетая] в белом платье, в белой шляпе, украшенной страусовым пером, с кожаной сумкой, набитой нотами, с зонтиком в руке.

— Шикарно, — сказал Кутузов. — Не забудьте, что он под надзором полиции.

Самгин молча протянул ему руку и вышел вместе со Спивак, а на дворе сказал ей:

— Как странно, что вы принимаете участие в конспирациях.

— Почему же не оказать услугу старому приятелю? — сухо ответила она, [ласково] [вопросительно] [заглянув в его лицо].

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-1, 59844—59846, стр. 24—28; ср. т. 20, стр. 41—46.

<ОТНОШЕНИЕ САМГИНА К РОССИИ>

Самгин с детства так много слышал разговоров о этой любви <к России. — *Ред.*>, что давно уже считал ее только одною из тем, на которой люди упражняются в красноречии. Не верилось, что этот серьезный человек <Кутузов. — *Ред.*> Сам он не только не испытывал этого чувства, но даже не представлял, что подразумевается под словами: я люблю Россию. Не верилось, что можно любить грязные, убогие деревни, туповатых, безграмотных, но хитрых мужиков, деревянные города, набитые простенькими людьми, тихая жизнь которых [может нравиться только] так любезна благожелательному старичку, не умеющему смеяться. Разумеется, выдумана и любовь к жуткому Петербургу, где бронзовые

монументы царям совершенно не соединимы с кирпичными трубами фабрик, где дома уютны, подавляют, а улицы наполнены сыростью, туманом. Так же выдумана и любовь к Москве, безалаберно запутанной, к странному городу, где маленькие церкви задавлены огромными домами. И вообще непонятна, подозрительна любовь к чему-то другому, кроме себя самого.

Ч. II.— ХПГ, 22-1-1, 59820, стр. 9—10; текст следовал за разговором Кутузова, Елизаветы Спивак и Самгина; см. т. 20, стр. 41—47.

«КАТАСТРОФА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАЗАРМЫ И ТИМОФЕЙ ВАРАВКА»

Он <Самгин.— Ред.> решил пойти в редакцию, сообщить о катастрофе, но, войдя в город, встретил Дронова на извозчике; привстав в экипаже, Дронов крикнул:

— Убитых много?

Клим не ответил. Дома уже знали о событии. Варавка сказал по телефону. Мать стала очень деловито и утомительно расспрашивать, в дверях столовой стояла горничная, в прихожей слушал дворник, крутя бороду, все это было глупо, ненужно и усиливало тяжесть настроения. Клим был рад, когда явился Варавка, сияя, как самовар, размахивая руками.

— Хо-хо! — орал он, ласково щупая бороду обеими руками. — Хотели построить дешево, — ага? На торгах вели себя, как нищие. Военное ведомство... Идиоты.

И, хлопнув Клима по плечу, попросил его:

— Ну-ка, брат, накатай воззвание о помощи семьям убитых! От меня пятьсот. Вера, ты — сколько? Пятьдесят? Лучше сто. Ты, Клим? Чудесно. Вера, устрой сбор в школе у себя — ладно? Ты, Клим, сейчас же и отправь, чтоб завтра напечатали. Лучше сам отнеси... Построили, чёрт вас возьми!..

Ч. II.— ХПГ, 22-1-1, 59820, стр. 24; текст следовал непосредственно за описанием катастрофы на строительстве казармы; ср. т. 20, стр. 55—56.

«ИНОКОВ И КОРВИН»

Самгин остановился, прислушиваясь, но Инокков, сказав еще несколько слов тише, спокойно и как бы уговаривая, — замолчал. Ему не ответили. Клим был уверен, что Инокков беседует с женщиной и, очевидно, они ушли во двор какого-то дома. Но, сделав несколько шагов, Самгин увидел в углублении переулка на паперти маленькой древней церкви Иноккова и Корвина. Инокков стоял одною ногой на панели, другой — на ступени паперти, он согнулся над Корвиным, а тот сидел у ног его, держась руками за голову и как будто рассматривая шляпу, валявшуюся у ноги Иноккова.

— Понял? — спросил Инокков. Регент тихо и жалобно ответил:

— Оставьте меня.

Самгин попятился, но было уже поздно, Инокков, выпрямясь, широкими шагами подошел к нему:

— Ты — что? — грубо спросил он. — Ах, это вы! Я думал... Вы — куда?

— Гуляю.

— Как странно, что вы второй раз видите меня с этим, — пробормотал Инокков, заставляя Клима толчками плеча идти рядом с собою.

КЛИМ САМГИН

Иллюстрация П. А. Алякринского
к повести
«Жизнь Клима Самгина»
Акварель, 1950 г.
Музей Горького, Москва



— А вы все воюете, — сказал Клим, натужно усмехаясь.

Инокков промолчал. Он шел медленно, нерешительным шагом, опустив голову и размахивая левой рукою, как солдат.

— Регент мог ударить вас ногою по ноге, и вы упали бы, — заметил Клим.

— Не догадался, — не сразу сказал Инокков. — Он вообще глуп. Подлец, а — глуп.

— А за два часа перед этим он держался у Елизаветы Львовны так нахально, — сообщил Клим, не скрывая удивления. Инокков взял его под руку, заглянул в лицо:

— Можно к вам? — И продолжал неприятно громко: — Скучно мне, поговорить хочется.

Да, поговорить ему очень хотелось. Он тотчас же и начал, как будто побежал по словам:

— Вам, Самгин, легко, вы — моралист. Десять заповедей, нагорная проповедь и — баста! А если прибавить «Хороший тон», — есть такое евангелие, — так и совсем отлично.

Говорил он не насмешливо, а только печально и тотчас прибавил:

— Вы — не обижайтесь, это я болтаю от конфуза. Так неприятно, что вы застigli меня с ним. Кстати: я его не бил сегодня, не думайте.

— Чего вы хотите от него?

— Чтоб он издох, — ответил Инокков и замолчал. <...>

— Выдумывать я не умею, оттого и стихи не удаются мне. А этот негодяй с первой встречи дохнул на меня каким-то чадом. Мы с ним ехали на пароходе из Рязани, — не люблю ездить на пароходах, в вагонах, даже на лошадях не люблю, это меня сжимает и укорачивает [скукой].

— Похоже на Диомидова, — с удовольствием отметил Клим.

— Мы с ним ни слова не сказали друг другу, но мне очень захотелось нагругить ему, а он, должно быть, по глазам моим понял, что ненавистен мне, и стал, знаете, молча, улыбочками хвастаться своей неуязвимостью; он ехал с викарным архиереем нашим, сопровождал его как собака. Приехали сюда, — очутились в одной гостинице, а потом начались встречи на одной тропе, третий год встречаемся. Я о нем такое знаю.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-1, 59852, стр. 1—2, 4; текст предшествовал эпизоду: *ночной визит Инокова к Самгину*; см. т. 20, стр. 67—71.

〈ИНОКОВ РАССКАЗЫВАЕТ О ПУАРЭ И О СЕБЕ〉

Инокков вдруг засмеялся, — смех его был почти беззвучен, но все тело тряслось.

— Шлейермахера я читал, на немецком языке, вместе с приятелем моим полицейским приставом Пуарэ. <...>

— Так вот, мы с ним читали Шлейермахера. Он вообще любит читать философию, Шопенгауэра читал, Гартмана, Фихте. Да. Я спросил его: зачем это вам? Для отдыха души, говорит, — душа, говорит, отдыхает только на непохожем на то, что знаешь. За эти корявые слова я его... он мне очень понравился.

Инокков высунулся в окно, кашлянул, сплюнул и замолчал.

— Зачем это рассказано? — тихо спросила Спивак.

Он повернулся к ней, глядя вдруг выпцветшими глазами, и ответил:

— Я много знаю такого. И — хуже. Меня мучает вопрос: настоящее это или нет?

— Настоящее, — решительно и громко сказал Робинзон, но Инокков как будто не слышал его.

— Я, вот, собираюсь рассказ писать, потому что мне иначе некуда девать то, что я знаю, тяготит это меня, кричать хочется. Я, даже, пишу, Елизавета Львовна. Напишу — подумаю: нужно ли рассказывать об вдалом? И — сожгу. Сожгу, потому что Толстой — молчит. Короленко, удивительно зоркий и цельный, тоже молчит. У Толстого какой-то бог есть, Евангелие. У Кор<оленко> — вера в справедливость, в какие-то добрые начала.

Радеев, покачнувшись, спросил:

— А вы не веруете в бога?

— Н-не знаю, — сказал Инокков. — Видите ли, очень глупо все для бога, люди и все вообще. Как-то сидел я на берегу реки ночью. И очень часто звезды падали в ту ночь, черкнет в небе, и погаснет звезда в черной воде. Экая глупость, думаю. Кто это швыряет звездами, и зачем? Вообще — неловко представить бога, гоняющим огненные шарик в бескрайней тьме. Смысла нет в этом. Нас ведь принуждают жить осмысленно, а в мире нет смысла-то, только еда, женщина и — вот такие никчемные мыслишки, как те, что я вам излагаю.

— Это — плохо, — сказал Робинзон. — Не могу представить: что же и о чем будете вы писать?

— Вот именно, — согласился Инокков улыбаясь, и, разняв пальцы, взмахнул затекшими руками. — Не знаю я, что надобно писать. Вижу два течения жизни: мою жизнь и вашу, т. е. — миллионов людей. В одно русло оба течения не вгонишь, не солгав себе или вам. Примирять непримиримое? Не надо. Углублять противоречия? Людей жалко.

Он вздохнул и широко ухмыльнулся.

— Людей я очень люблю, и мне их [до безумия] жалко. Особенно люблю преступных, т. е., вернее, — плохих. А хороших, кажется, не

очень. Хороший человек подозрителен мне, в нем есть что-то неестественное, слепое и даже — пугающее.

Радеев встал, отряхнулся и сказал:

— Не понимаю. Думаю, все это оттого, что недостаточно видели. А я, знаете, интеллигентных людей люблю, за бескорыстие их. И могу вас познакомить с идеальным человеком. У меня на мельнице служит один ссыльный политический, так он, знаете, все толкает меня к усовершенствованиям, он — инженер-механик. Однажды говорю я ему: слишком много трудитесь вы за мое вам жалование, нельзя так расходовать силы на чужое дело. А он: развитие отечественной техники такое же мое дело, как и ваше. Вот-с. Вот эдак понимать работу — великая вещь!

Все это Радеев сказал строгим тоном проповедника, а в конце речи даже руку поднял и пальчиком погрозил в потолок. И тотчас заторопился, как бы избегая возражений. — Однако — пора идти-с! Благодарствую за приятнейший вечер, Елизавета Львовна!

За ним стал прощаться Робинзон, неохотно слез с подоконника Иноков. Клим проводил их за ворота...

Ч. II. — ХПГ, 22-1-1, 59820, стр. 31—34; ср. т. 20, стр. 69, 73—76.

〈МАТЬ КЛИМА САМГИНА О НЕХАЕВОЙ〉

〈...〉 на следующий день он уехал в Москву, не дожидаясь возвращения, матери и Варавки из Крыма, куда они отправились с Выставки и откуда мать прислала ему длинное письмо в лирическом тоне, в конце письма она сообщила:

«Я встретила здесь Серафиму Павловну Нехаеву, которая говорит, что знала тебя в Петербурге. Она некрасива, но [очень образованна] умная, и у нее хорошие воспоминания о тебе. Удивительно религиозна и вообще очень, очень интересная. P. S. Распорядись, чтоб старый вяз на дворе срубили».

— Все еще живет, — подумал Клим, вспоминая сухой кашель и короткое дыхание худенькой девушки.

Ч. II. — ХПГ, 22-1-1, папка 1, стр. 30.

〈МАРАКУЕВ О ДУНАЕВЕ И ДЬЯКОНЕ ИПАТЬЕВСКОМ〉

Самгин вспомнил неприятное настроение, испытанное им в те часы, когда он сидел в комнате Лидии, наблюдая учеников Маракуева. Настроение это особенно сильно возбуждал Дунаев своими улыбочками, шёпотом и вопросами, в которых неприкрыто звучало нечто задорное и всегда недоверчивое. Как-то, за чаем, Клим сказал Маракуеву:

— Я думаю, что Дунаев не верит вам.

Маракуев ответил тоном человека, готового поспорить:

— Этого и не требуется. Верили — достаточно долго, пора понимать.

— В нем чувствуется что-то неискреннее, предательское, — не уступал Клим, подогреваемый пристальным взглядом Фионы.

— Ну, это у вас от воображения, — заметил Маракуев, нахмурясь. — Дунаев из тех [рабочих] людей, которые уже много знают, но, по скромности, конфузятся своих знаний.

— Не умен ты, брат, — мысленно сказал ему Самгин, а Маракуев, с явным нежеланием продолжать беседу, обратился к Фионе:

— А — каков Дьякон? Оригинальнейшая фигура. Убеждаю его подобрать из церковной литературы десятка два хорошеньких цитат, в духе этого... Лактанция, что ли? Я бы из них брошюрку сделал для крестьян. Превкусную коврижку можно состряпать.

И объяснил, улыбаясь:

— Коврижка — слово Надсона, из его комического стихотворения:

При сем я посылаю книжку,
В ней — я не помню что — живет.
Ты эту вкусную коврижку
Отправишь в умственный свой рот.

— Не остроумно, — сказала Фиона, наморщив хрящеватый свой нос.

Ч. II.— ХПГ, 22-1-2, 59821, стр. 9; *текст следовал за фразой*: «Маракуева, на-
верное, скоро снова арестуют...»; см. т. 20, стр. 98.

〈САМГИН О «МНОЖЕСТВЕ ПРАВД»〉

С тем же недоверием, как к людям верующим, Самгин относился к проповеди книжной. В черной паутине типографского шрифта он прозревал и чувствовал такое же посягательство на свободу его мысли и воли, как в речах верующих людей. Беседы с историком Козловым напомнили ему, что еще гимназистом, читая злую полемику князя Курбского с царем Иваном Грозным, он обнаружил две правды, которые показались ему одинаково неправдами. Была правда у Котошихина [и у протопопа Аввакума была], у Щербатова. И было еще множество правд [все слагались в неискоренимую правду быта, правду будничной жизни], и правда Евангелия, которое Иноков озорниково уравнивал с книгой «Хороший тон». И вот: раньше хорошим тоном считалось «народничество», а ныне претендует на эту роль марксизм.

Ч. II.— ХПГ, 22-1-2, 59821, стр. 13—14; ср. т. 20, стр. 101.

〈РАССКАЗ ЛЮБАШИ СОМОВОЙ О ДЕРЕВНЕ〉

— Помещицу Орловскую разбила лошади. Ее, без сознания, принесли ко мне в школу. Это она же и построила [в селе] школу, больницу, завела небольшой конский завод для улучшения крестьянских лошадей, заводом пользовался почти весь уезд. Землю свою сдавала в аренду на условиях, которые мужики [сами] считали выгодными для себя. Жила она аскетически просто, отчитывалась пред сходом в трате арендных денег на улучшение больницы, школы и т. д. Вообще она [была] очень культурный человек с таким серьезным, вдумчивым отношением к мужикам. Я была уверена, что они ее любят, некоторые называли ее «наша праведница». А самый умный и симпатичный человек в селе, Михаил Пименов, говорил мне: «У нее и сестра такая же, в [ссылке] Сибирь сослана была, за народ радея, там и скончалась. Она у нас — редкостная, такая, что, может быть, на всю Россию — одна». Он и привез ее с поля [ко мне] всю в крови, в грязи, с мертвым лицом. Ужас.

Сомова зябко повела плечами, и ее круглое лицо болезненно сморщилось.

— «Надо ждать — помрет», — сказал он и слизнул с губ своих улыбку, которая показалась мне нехорошей. Он такой красивый, спокойный, аккуратный. С чувством собственного достоинства. Доктора в селе не было, уехал верст за восемь в деревню, там жестоко разгорелся дифтерит. Я попросила Михаила послать за ним верхового. Он ушел, Михаил. Собрались под окном мужики, бабы, соболезнают. Потом пришел он и первым словом спросил: «Не померла еще?» И, в продолжение почти трех часов, несколько раз спрашивал: «Дышит?» «Неужто оживет?» И все облизывался. А когда она померла, снял шапку, перекрестился и сказал: «Ну, вот, и готово!» И тотчас же начал говорить мужикам: «Она была

здоровая, кабы не этот случай,— долго бы прожила. Теперь, братцы, держи ухо востро. Мужичко ее должен явиться к наследству, и нам нужно так его обойти, чтоб он землю нашему обществу продал». Затем оказалось, что он послал сына своего за доктором на старой лошади, и я уверена, что он сделал это нарочно, из расчета, что доктор опоздает. А когда я сказала ему об этом, он ответил: «Зачем же хорошую лошадь зря гонять? Ведь я видел, что Софья Кирилловна помирает».



РАБОЧИЕ У БАРРИКАДЫ

Иллюстрация П. А. Алякринского к повести «Жизнь Клим Самгина»

Рисунок карандашом, 1951 г.

Музей Горького, Москва

— Какая гадость, — [тихо] громко сказала Фиона, а Сомова, взглянув на нее, закончила [рассказ] повесть:

— Возненавидела я его, умника.

После этого она стала грустной, вялой и вскоре ушла к себе, в комнату, где жил дядя Хрисанф, не возразив на ворчливое замечание Маракуева:

— Все это естественно. Земля должна принадлежать мужику, и он это знает.

— Вы давно знакомы с нею? — тихо спросила Фиона Клим.

— С детства.

— Она очень... умная?

— Как [раз в меру] видите.

Маракуев провел ладонью по волосам и сказал угрюмо:

— Черствеют люди от марксизма.

А когда Клим сказал ему, что Сомова едва ли марксистка, он проворчал:

— Не [оправдывайте] смягчайте. Я — вижу.

〈МАКАРОВ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ И О ДЕКАДЕНТАХ〉

— Ты как смотришь на Т〈олстого〉?

Мак〈аров〉 равнодушно ответил:

— Церковник. Митрополит.

И задумчиво продолжал:

— У нас, брат, как будто зарождается новая литература. Недавно я был в компании молодых поэтов. Ребята весьма самоуверенные. Насколько я понимаю, они пока стараются объединить романтизм Тика и Новалиса с декадентством французов. Хотят, чтоб слово [звук] давало впечатление цветное. Читали стихи какого-то француза, который, д〈олжно〉 б〈ыть〉, вспомнив Тика, пошел дальше его и окрасил все гласные. Все это несколько скучно и старо, однако парни, кажется, талантливые. Очень дерзкие и грамотные. Кажется — Надсонов из них не будет, [но возможен хороший Фофанов]. Там есть один, весьма похожий на Фофанова, но острее. И, видимо, тоже пьяница.

— Это — к достоинствам? — спросил К〈лим〉.

Мак〈аров〉 остановился, протянув руку, и ответил:

— Я думаю, что у нас многие пьют из страха сойти с ума. Прощай, мне сюда...

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 23-1-1, 59839, стр. 3—4; текст и последующие несколько строк, посвященных размышлениям Самгина о том, что «жизнь становится все интересней», предшествовали описанию встречи Самгина с Лидией и Алиной, вернувшимися из Парижа; см. т. 20, стр. 132.

〈В КОМПАНИИ ЛЮБАШИ СОМОВОЙ〉

При гостях Сомова становилась еще оживленнее, бойчей, ходила подпрыгивая, и на круглом лице ее неугасимо сияла радость.

— Милые, до чего все это интересно-о! — возглашала она, сладостно жмурясь и растягивая о.

Клим находил, что она вела себя слишком размашисто, даже неприлично, насакивала на мужчин слишком откровенно, обнаруживая голод своего тела. За глаза мужчины называли ее Сомихой и, не любя эту девицу, К〈лим〉 не без удовольствия видел, что мужчины относятся к ней небрежно, с тепловатой фамильярностью, которая должна обижать ее. Сомова тоже относилась к нему недружелюбно [насмешливо], а однажды сказала:

— Самгин желает смотреть на все «с высшей точки», как любил говорить Достоевский, мой личный враг, потому что лютый враг женщин. Ой, не люблю «высших точек»!

Бывали минуты, когда К〈лим〉 [оглушенный крикливыми спорами] ощущал себя вместилищем всех мнений, которые он слышал, и все они, безразлично, казались ему приемлемыми, невзирая на их пестроту и разногласия. Они устанавливались в нем, точно книги на этажерке, молча, одна рядом с другою, К〈лим〉 не чувствовал ни симпатии ни антипатии ни к одной из книг, и они не отягчали и нужны были только для общения с людьми, для бесед, но не иначе и не глубже этого. А под ними он ощущал другое, свое, хотя и неясное, неоформленное, но совершенно чуждое мнениям, которые он только что [пытался осторожно оспорить] противопоставлял одно другому. В этом настроении [такого безразличия] он особенно уверенно [сознавал] чувствовал себя существом, отличным от [всех этих] людей и высшим, чем они, уверенно [ждал] думал, что на почве ощущения им своей исключительности, на почве, обильно удобренной чужими идеями, должна вырасти и расцвести какая-то его, Самгина, оригинальная идея.

— На что нужны такие люди? — думал он, [присматриваясь к ним все более внимательно. В сущности, это микробы — болезнетворное начало]

На этот вопрос ему, случайно, ответил Смирнов, возражая [Медведевой] Рогову:

— Самое большее, что я могу признать за людьми вашей линии это — роль микробов, роль болезнетворного начала, разрушающего социальный организм.

[Человек этот был антипатичен Климу, но мысль его К<лим> признал вер<ной>]. Клим взглянул на него с досадой и завистью, он сам предпочел бы выговорить эти слова, хотя и не вслух, а только для себя. Ему нередко казалось, что люди торопливо забегают вперед его, предвосхищая его мысли, говоря его словами раньше, чем он находит эти слова. Смирнову особенно часто удавалось это, и Кл<им> чувствовал, что его антипатия к старенькому подростку все растет. И почему-то очень неприятно было замечать в суждениях Смирнова сходство с философией Томилина и злыми речами Полуярова.

— Мы забываем, что среди нерешенных вопросов есть вопрос о праве навязывать друг другу наши принципы и убеждения, — [пронзительно] проповедовал См<ирнов>. Гнусавый голосок его действовал на Медведеву, точно сквозной ветер, девица вздрагивала, шевеля круглыми плечами и грудью, лицо ее еще более краснело.

— Но ведь это анархизм, — кричала она, а Смирнов сверлил:

— Политика не спасет нас, тут я согласен с Толстым...

— И я, поскольку он — анарх<ист>, — заявил Рогов.

Ч. II. Фрагмент — ХПГ, 23-1-3, 59918, стр. 3—4.

〈НАПАДЕНИЕ ЧЕРНОСОТЕНЦЕВ НА ДЬЯКОНА ИПАТЬЕВСКОГО И МАРАКУЕВА〉

〈...〉 постучали в дверь, и, тотчас же открыв ее, на пороге встал Дьякон, ослепленно шурясь и нерешительным жестом снимая шапку. Клим тревожно встал, шагнул встречу гостю; Дьякон впервые пришел к нему, и по лицу его видно было, что пришел он с недоброй вестью.

— Доброго здоровья, — пожелал он [очень низким тоном, Клим, пожимая его сухую ладонь, спросил тихо:]

— Что-нибудь случилось?

— Да. Я — к вам, чтоб не тревожить барышень, — объяснил Дьякон и, покачнувшись, приложил руку к затылку. Лицо у него было больное; глаза воспалены; он сел на стул, [шумно] отдуваясь, наморщив лоб.

— Арестован Маракуев? — догадывался Клим.

— Нет. Ушибли его, вот что. Опасаюсь — нехорошо ушибли. По спине, знаете, но как-то уж очень ослаб он.

[Говорил Дьякон медленно и как бы сквозь сон.]

— Налейте-ко чаю мне, — попросил он, расстегивая поддевку на груди и снова тяжело отдуваясь. Затем он начал рассказывать, заботясь, чтоб голос его гудел потише.

— [Мы трое, он, Дулов и я] Я с ним [трое суток] в Серпухове был. Беседовал он там с неофитами. [Семнадцать человек слушало].

Говорил он с паузами и так, точно ему очень трудно было вспоминать.

— Потом пошли, ночью, к товарному поезду, и по дороге к вокзалу напали на нас темные люди, [Подговорили их, что ли] а, может, просто озорство. Там некоторые остались недовольны [речами Маракуева].

Дьякон, казалось, нарочно подбирает окающие слова для того, чтоб речь была тяжелее, внушительней.

— Меня ударили по темени, оглушили, упал. А — очнулся. Маракуев-то сидит, но встать не может, ноги не действуют. Я думал: отморозил,



ВАРАВКА

Иллюстрация П. А. Алякринского
к повести
«Жизнь Клима Самгина»
Акварель, 1954 г.
Музей Горького, Москва

да ведь мороз не крепок был. Донес его до вокзала, дождались пассажирского, приехали сюда, сдал в больницу. [Говорю, что он неловко из вагона спрыгнул]

Он замолчал, грея руки о стакан чая, опустив голову, а Клима почувствовал себя успокоенным.

— Я думал — арестовали его.

— Арестуют, полагаю, не звери. А тут...

И, мотнув головою, Дьякон стал большими глотками пить чай. Климу захотелось знать подробности случая, но [гость, не ответив ему на несколько вопросов, сказал:] Дьякон сказал:

— Что же тут рассказывать? Стыдно рассказывать-то. Убеждал я его: не от себя, не от юности своей говорить следует, а от древних воплей души человеческой. Но — самонадеян он и дразнил зверя неосторожно...

Вытянувшись во весь рост, крикнув, он спросил:

— Так вы известите барышню Фанону?

Ушел, но через несколько секунд снова отворилась дверь, он широко шагнул в комнату и, плотно прикрыв дверь, держась за ручку, сказал:

— По-моему — не надо говорить, что ушибли его, а будто он спрыгнул из вагона, упал и сам ушибся, — а?

— Хорошо, — согласился Клима.

Осторожно натянув картуз на голову и шагая к двери, он мрачно сказал:

— Главное, — не жалуется он, что больно. Прощайте...

Когда его унылая, темная фигура исчезла, в комнате снова стало празднично и светло.

— Как отнесется к этому Фанона? — соображал Клима, выходя на улицу в бодрый холод и солнечный блеск. — Конечно, трагически вытянет шею во всю длину, выкатит глаза и станет кусать губы, — решил он хмурясь.

И ошибся. Девушка отнеслась к его рассказу весьма спокойно и деловито, спросила адрес больницы и тотчас пошла одеваться.

— Вы меня проводите? — спросила она из-за двери.

— Не могу. Лекция, — отказался Клим и пошел гулять по городу среди домов, нарядно украшенных чистейшим снегом.

Ч. II. — ХПГ, 22-1-2, 59821, стр. 59—61; текст следовал за сценой: Самгин читает объявления в газете Варавки; см. т. 20, стр. 129.

«САМГИНСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К РЕВОЛЮЦИИ»

Незаметно для себя Самгин начал привыкать к мыслям и беседам о революции, как привыкают к неизбежному, например, к затяжным дождям осени, или как привык он к ежедневным урокам музыки в третьем этаже, над головою его. Не думая и не веря, что революция неизбежна, он видел, однако, что количество людей, которые любят говорить о политике, быстро возрастает, считал эти разговоры неустрашимыми, мирился с ними и почти уже не вспоминал возмущенный окрик горбатовской девочки.

Маракуева Клим видел человеком мягкосердечным, настроенным поэтически и с искренним увлечением играющим книжного героя, готового «пострадать за народ». Маракуев не казался ему похожим на революционера. Еще менее похожи были на разрушителей существующего строя Прейс и [люди] его [кружка] друзья. Дунаев и другие рабочие из кружка Маракуева? Клим Самгин ничего не имел против стремления рабочего класса к борьбе за лучшие экономические условия.

Из всех людей, увлеченных политикой, только Кутузов, видимо, избравший ее своим ремеслом, возбуждал в Самгине чувство, близкое к уважению, но необъяснимо смешанное с неприязнью. Заочно Самгин всегда думал о Кутузове неприязненно, а при встречах испытывал именно уважение к нему. И, отгадывая, почему это так, пришел к мысли: Кутузов подкупает его тем, что пожертвовал [голосом своим в пользу делу] политике карьерой певца.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-4, 59876, стр. 3.



ДУНАЕВ

Иллюстрация П. А. Алякринского
к повести

«Жизнь Клима Самгина»

Акварель, 1954 г.

Музей Горького, Москва

〈САМГИН И ДУНАЕВ〉

— Вы окончательно стали марксистом? — спросил Клим с улыбкой.

— А — как же? — удивился Дунаев. — Это для нас — настоящее учение. [«Манифест Коммунистической партии» — штучка стальная. Лучше не придумать]. А — вы как?

Но о политике Клим не хотел рассуждать с Дунаевым. Рабочий не нравился ему, в глубине его веселых зрачков Клим видел огонек недоверия; огонек этот был неугасимый, давно знакомый ему [и всегда смущал]. Не ответив на вопрос Дунаева, он сам спросил его о Дьяконе, студенте.

— [Дьякон] Редко хороший [мужик] парень, — одобрил Дунаев. — Он не те книги читал, а вычитал из них, что надобно.

И, вздохнув, он сказал уважительно:

— Это, пожалуй, не каждый может, — сильнее книги думать, — [Все одно к одному: учимся!] закончил он и встал.

— До свиданья. [Спасибо].

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-1, 59876, стр. 1; ср. т. 20, стр. 215—217.

〈РЕДАКТОР ВАРАВКИНОЙ ГАЗЕТЫ〉

У него <у Клима. — Ред.> портились отношения с редактором. Человек с обиженной губою, поглаживая лысину, говорил:

— Видите ли: возникает вопрос, какое отношение имеют все эти декаденты, символисты, садисты к прогрессу?

Он произносил священное, но вышедшее из моды слово, особенно и как бы угрожающе подчеркивая эры в нем.

— [Бодлер, Верлен — ненормальные люди, как, например, Поэ или Достоевский. Все они и подобные им — садисты. И враги прогресса. Вы забыли отметить это]

И указательным пальцем, с рыжими шерстинками на нем, редактор, отодвигая от себя листки рукописи, продолжал:

— Я говорю — садисты, потому что вот: «Цветы зла».

Кл<им> пожаловался на него Робинзону, но тот, посмеиваясь, сказал:

— В статейках ваших он ни черта не понимает, но — вы родственник издателя, а он — редактор, и ему именно пред вами особенно хочется показать себя независимым.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-1, 59855, стр. 3—4; ср. т. 20, стр. 273.

〈САМГИН И ЕГО «ВНУТРЕННЯЯ СВОБОДА»〉

Глядя в сумрак, где у окна еще не рассеялось облако табачного дыма он покусывал губы и соображал: [да, революция — неизбежна, об этом убедительно пишут, еще более убедительно говорят; две [политические] социалистические партии, быстро разрастаясь, стараются ускорить катастрофу. Социализм ему, Самгину, органически чужд, это он хорошо [чувствует] знает, но самодержавная власть пережила себя, бессильна управлять страной, это тоже вполне ясно. Нужно, чтоб власть взяли крепкие руки и очистили Россию от нажитого еюхлама, от этой едкой человеческой пыли, которая мешает жить и дышать...]

— Варвара права, — я насилую, ломаю себя, вращаясь среди людей, духовно чуждых мне. Варвара — права. Кутузов — тоже прав. Но и старик Козлов... Чёрт их побери, все эти правды! Все они — вне [социальной] биологической истины: человек есть человек, и от этого ничем его не вылечишь. Варавка тоже прав...

Самгин лег удобнее, чувствуя, что он никогда еще не думал о себе так напряженно и что это напряжение обещает поставить его на какую-то твердую почву и укрепить изнутри.

У него нет желания и сил нет отойти в сторону от жизни, да и — куда бы он отошел? [Стремление быть на виду, показывать себя большим человеком — вполне естественное стремление, не будь его, — жизнь потеряла бы интерес и смысл. Но в то же время Самгин понимал, что он думает тенями чужих дум, а своего оригинального в нем все еще нет. Люди, которые считают его выдающимся человеком, — глуповаты и вполне заслужили то пренебрежительное, скрыто ироническое отношение, которое он питает к ним. В нем только одно подлинно свое, это — сознание его внутренней свободы и право его жить по своим законам.

Это не «эгоизм», как теперь говорят, — не анархизм, и в этом нет ничего цинического, это биологический закон роста личности.

— Да, — почти вслух сказал Самгин и, соскочив с постели, снова взял папиросу, но не закурил, а, вздохнув, лег.

Его свобода все более подавляется вихрем разнообразных и противоречивых впечатлений, и все более часто он не ощущает самого себя в хаосе действительности. Он не ощущает себя и вот в этот поздний час дождливой ночи, он думает о себе, как будто об орудии чьей-то чужой и враждебной ему воли. На нем лежит проклятая обязанность быть умником, — все знать, обо всем говорить, играть в обществе роль какой-то эоловой арфы. В сущности, он оправдывается и защищается.

— Пред кем? Пред настоящим самим собою?

Так, не выпутавшись из противоречий, он и заснул.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 22-1-4, 59822, стр. 25—26.

«ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ САМГИНА О КРЕСТЬЯНАХ. РАЗГОВОР С ПОГОРЕЛЬЦЕМ»

Клим поднял с земли ветку березы и пошел между деревьев лукаво изогнутой дорогой из тени в свет и снова в тень. Шел и думал, что можно было и не учиться четырнадцать лет в гимназии, в университете для того, чтоб ездить по избитым проселочным дорогам, на скверненьких лошадях, в неудобной бричке, с непонятными людьми на козлах. О чем можно говорить хотя бы вот с этим мужиком, который, видимо, обрадован тем, что лопнула ось? Лицо у него какое-то [нечеловеческое] неряшливо слеplено из жидкой массы, оно кажется неподвижным, неспособным выражать что-либо, но в то же время оно неуловимо, изменчиво; унылое, оно вдруг становится веселеньким и хитрым, затем как-то без видимой причины глупеет, оплывает вниз к тряпичной шее, и открываются зоркие, звериные [должно быть, лисьи] глаза холодного небесного цвета.

А вчера вечером он говорил с погорельцем [мельником], с владельцем паточного завода, длинным сухим человечком, который, вероятно, сам поджог [мельницу] завод свой. Лысый, с черепом в форме дыни и с большим, как ручка долота, носом, он, вытаращив круглые глаза филина, рассказывал могильным басом:

— Мне так положено от господ: шесть лет живу в благополучии, а на седьмой посещает [меня] несчастье.

Глаза у него какие-то рыжие и посменно выражают то суровость, то испуг.

— С женой семь лет прожил — скончалась, сына на седьмом году бык забодал, дочь, девяти лет, оспой померла...

Когда Самгин заметил:

— Как же [это]: все на седьмой, а тут — девяти?

Это не смутило старика.

— Ошибки [везде] во всем бывают, — поучительно сказал он, взмахнув мохнатыми бровями, и — добавил: — А, может, отсрочка дана.

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 22-1-4, 59822, стр. 28—29; ср. т. 20, стр. 339—340.

〈САМГИН И СТРАТОНОВ〉

— Надо переодеться, — сокрушенно вздохнул он, попробовав стереть пятна платком, выплеснул кофе за окно и пробормотал:

— Гнусенький пейзаж. И город этот, Нижний, тоже — дрянной город. Населен плохо обрусевшей мордвой, — сердито ворчал он, открывая чемодан. — Местные воротилы, денежные люди [Башкировы, Блиновы, Бугровы] — бестолковая мордва. Их надобно учить, совать носом в настоящее дело...

Надев другие брюки, он похлопал себя по крепким ляжкам и успокоился. Тогда Самгин сказал:

— Вот вчера вы говорили о народниках...

— Да?

— Они организовались в партию, социал-демократы тоже, а люди ваших взглядов...

— Что такое — партии? — прервал его Стратонов, вытянул руку, дунул на ладонь и сказал: — Вот вам — партии. В одной тридцать мальчиков, в другой, допустим, тоже тридцать. Партии! Они, батя, организуются ограниченными людьми, партии. Люди эти ставят пред собою конечные цели, а это — глупо, смысл жизни в бесконечном [разви] движении, да-с! Так учит теория эволюции, — сказал он, подкручивая кончики усов. — Вы где остановитесь?

Клим в тот же день должен был ехать за Волгу [в г. Семенов].

— Жалею, — сказал Стратонов. — Вечером мы бы с вами позабавились. Ну, всего доброго.

Самгин простился с ним сухо, даже пренебрежительно. Своим отношением к партиям Стратонов совершенно опрокинул себя в его глазах. Клим хорошо знал, что революционные партии — не [тучи] пыль, что они растут, и самонадеянность Стратонова показалась ему такой же глупой, как глуп был его жест. Вчерашняя оценка достоинств Стратонова и рассердила и сконфузила его.

— Трудно представить, что этот парень учился в университете, читал книги, — думал Клим, подпрыгивая в разбитой пролетке, с треском катившейся по булыжной мостовой мимо приземистых зданий Ярмарки. — Нет, не такие, как он, необходимы России. Тороплюсь я. Почему я так тороплюсь с оценками людей? О бесконечном движении он у Бернштейна взял: «Конечная цель — ничто, движение — всё».

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 22-1-4, 59822, стр. 7—8; ср. т. 20, стр. 351—352.

〈ЗУБАТОВЕЦ ГУСАРОВ〉

〈...〉 Сидел на стуле точно на коне, в какой-то геройской позе. Широким жестом погладив голову, потрогав пальцами ухо, он сказал:

— А мне кажется, [наш народ] что раб<очие> хотят поставить дело свободы на свой салтык.

— Что это такое — салтык? — спросила Варвара, [сидя с непрониц...] она, как всегда, слушала разговор о политике, сделав внимательное лицо, но так, чтоб всем было понятно: это внимание любезной хозяйки, не более.

КУТУЗОВ

Иллюстрация П. А. Алякринского

к повести

«Жизнь Клима Самгина»

Рисунок карандашом, 1951 г.

Музей Горького, Москва



— Салтык — народное словцо, должно быть взятое у татар, равносильно нашему слову — образец, — объяснил Гусаров не без некоторого щегольства; но Варвара снова спросила:

— Почему же не сказать — образец?

Гусаров [skonфуженно] улыбнулся.

— Да так как-то — подвернулось на язык.

— «Вскую шаташася языцы», — вздохнул Суслов и хотел сказать еще что-то, но вбежала Любаша, точно испуганная кошка, остановилась и крикнула через плечо свое:

— Он здесь, Таня!

В следующий момент, она, стоя с бока Гусарова, стучала красным, должно быть, озябшим кулачком по столу и драматически спрашивала:

— Скажите, Гусаров, [кто вы такой?]

[— Что такое? — Гусаров отодвинулся от нее вместе со стулом, взяв для чего-то со стола чайную ложку].

— Я спрашиваю: кто вы? Что значит ваша речь рабочим в Кремле, речь о том, что партийная интеллигенция хочет проехать к власти на шее рабочего класса?

— Позвольте, это — [чепуха] не так! — крикнул Гусаров, встал и даже гневно ударил стулом о пол. — Я говорил, да! Но на тему, что освобождение рабочего класса должно быть [делом самих...]

— Он еще и лжет! — всплеснув руками, яростно вскрикнула Любаша.

[Двигаясь точно по льду] Склонив голову к плечу, вошла Татьяна и [отодвинув Сомову плечом] очень спокойно сказала Гусарову:

— Я стояла сзади вас, когда вы [говорили, хотите повторю ваши слова об экономике?], прячась за царь-колокол, говорили: — Долой политику, не слушайте малограмотных студентов...

— Не вам контролировать мои убеждения, барышня, — сказал Гусаров, оттолкнув стул.

Любаша закричала:

— У вас каждый месяц другое! У вас нет никаких убеждений... Вы недавно проповед(овали) фабр(ичный) террор, бесстыдник...

[— Разве вы не крикнули: долой политику, долой малограмотных студентов? — спросила Татьяна, наливая себе чай.]

— Барышня? — повторила Т(атьяна), оскалив зубы усмешкой. — Вы меня убили, Гусаров! — И, отвер(нувшись) от него, она обратилась к Сулову. — Говорил он негромко, не очень храбро, и слушали его человек двадцать-тридцать, не больше.

— Бесстыдник, — [сказала] вскричала Любаша, отошла от него и, встав спиной к печке, глядя или царапая дрожащими руками изразцы [прибавила: — А еще недавно проповедовал фабричный террор.]

Наступила минута неприятнейшего, ожидающего молчания. Сулов тихонько позванивал ложкой в стакане. Варвара, сделав непроницаемое лицо, раскуривала папиросу. Татьяна, обжигаясь, пила чай, а Гусаров, молодцевато выгнув грудь, покашливал, выдувал воздух носом и, видимо, собирался говорить много.

— Тяжелый день, — подумал Самгин. Только в эту мин...

— Да, — заговорил Сулов, вздохнув сквозь зубы со свистом. — Что-то такое... Так вот это, Гусаров, и значит свой салтык? [Да-с. И раньше слышно было, что вы... как это сказать?] Раньше такие шгучки назывались — измена, теперь зовутся теорет(ическим) уклоном, кажется.

— Позвольте, — крикнул Гусаров очень низким голосом, — вспомните, Плех(анов) сказал: освоб(ождение) раб(очих) есть дело самих рабочих.

— [Н-ну-те-с? Это — насчет «дело самих рабочих»?] Мы слышали это до Плеханова, только на месте рабочих стоял народ. Забивать головы рабочих пар(тийными) разногласиями — совестно.

Сулов встал, стряхнул с кофты своей какие-то крошки и [внятно сказал:

— Есть, видите ли, честный теоретический уклон и есть измена делу.

— Позвольте, — вскричал Гусаров. — Вы не имеете права...

— Назвать вас изменником? — спросил дядя Миша] тихим шагом пошел на Гусарова, маленький, тощий. Он мог бы войти в широкогрудого Гусарова, как в шкаф.

[— Имею, — сказал он, подойдя вплоть к нему. — И называю: изменник.] — Н-ну-те-с? — спросил он, подойдя к нему вплотную — тот отступил, густо покраснев.

[— А вы —] — Что вам угодно? Вы старый книжник, вот что! Фанатик, — икающими звуками откликнулся Гусаров и, нелепо раскачиваясь, потирая на ходу одною рукой бедро, другой грудь, — ушел.

Когда широкая спина его исчезла за дверью, дядя Миша внушительно сказал, прокалывая воздух указательным пальцем:

— И все это — не так, [барышни] девушки! Зря погорячились вы, зря наскочили. Его надо было вот так, — он растопырил пальцы, затем сжал их в кулачок и кулачком показал под ноги себе.

— И все это надо было делать не здесь, Сомова, вот что. — Ну, о нем после, — рассказывайте, Таня.

— Он чувствует себя хозяином, — подумал Самгин, глядя, как дядя Миша расхаживал по комнате, сунув руки в карманы брюк.

Варвара сосредоточенно мыла чайную посуду, чего она вообще никогда не делала. Самгин встал, желая дать свет, но она сказала:

— Подождите, так лучше.

[— Негодяй, — вздохнула Любаша, а Татьяна задумчиво начала рассказывать:

— Он там чёрт знает что говорил и, знаете, с жаром! Типичный зубатовец,— политики губят рабочее движение, интеллигенция корыстна и прочее. Хуже всего то, что рабочим это нравилось, слушали его хорошо. Только в эту минуту Самгин заметил, что Татьяна одета в простенькое платье, грубые башмаки и похожа на горничную из небогатой семьи. Это сделало ее как бы симпатичней].

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 23-1-3, 59900, стр. 1—4; ср. т. 20, стр. 377—378.

«САМГИН В ОЖИДАНИИ ОБЫСКА»

— Чёрт бы взял,— пробормотал Самгин, вскочив с кровати. Его гнев обратился на Сомову.

— Третий раз,— ворчал он, нащупывая ногами туфли; ему хотелось сказать:

— Из-за бездарной жирненькой девицы, которая, дожив почти до тридцати лет, не умела удержать при себе любовника и укрощает голод плоти своей бессмысленной суетою, играя роль горничной при революционерах...

Он, конечно, не сказал этого, чтоб не обрадовать жену.

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 23-1-3, 59904, стр. 1; ср. т. 20, стр. 398—399.

«ОБЪЯСНЕНИЕ САМГИНА С ЖЕНОЙ»

— <...> для меня вообще несомненно, что Сомова причастна к террористам. Послушай,— неужели ты не понимаешь...

Ее шёпот принимал тон все более драматический, и это заставило Самгина вспомнить ее той неприятной девушкой, какой она была до связи с ним. Она очень разумно и убедительно говорила о риске испытать «в чужом пиру похмелье», но соглашаться с нею не хотелось. И когда она предложила: — Скажем Сомовой, что необходимо отремонтировать флигель, и пусть она уедет от нас,— Клим небрежно заметил:

— Какая ты трусиха!

— Я не хочу сидеть в тюрьме,— вдруг истерически крикнула она, ударив по столу кулаком.

— Тише! Ты с ума сошла,— тоже закричал Самгин, и сам удивился озлоблению, которое внес в свои слова.

— Нет, не сошла! И не трусиха, нет! — говорила Варвара шёпотом, царапающим уши.— Это ты — трус! Ты, потому что хочешь играть роль, для которой у тебя нет таланта. Я тебя поняла! Да, да,— шептала она, наклонясь к нему, глаза ее становились все зеленее, в них явился почти нестершимый блеск, на длинной шее, под красными ушами Клим видел дрожь каких-то синих жилок, [а лицо ее так покраснело, точно она только что вышла из горячей ванны]

— Ты революционер только потому, что такова мода. Ты весь — в словах, а сердце холодное у тебя. И я не хочу больше...

Самгин встал, подкинутый со стула злой дрожью и чувствуя желание ударить ее.

— Прошу замолчать,— сказал он негромко и пошел в свою комнату, сзади его загремели чашки и задыхающимся шёпотом Варвара прошептала:

— А я... я требую...

Он уж не слышал, чего она требует, заглушив ее слова резким стуком двери и шумом ключа в замке. В кабинете у себя он свалился на диван, изумленно пробормотав:

— Вот скотина! Не угодно ли?

Все, что Варвара нашипела, было тем более отвратительно, что это была правда: и, [конечно] да,— ему грозит похмелье в чужом пиру. Сомова — опасна, он — не революционер. Но эту правду он сам знал и, конечно, намного раньше, чем догадалась о ней жена, и он был глубоко оскорблен тем, что об этом догадалась глупая женщина с длинной шеей и деланной скромностью распутницы, которая только потому скромна, что боится показать навыки проститутки. Он лежал, скрестив руки на груди, сжав зубы и мысленно давил Варвару тяжелыми словами.

— За все время жизни с тобою я никогда не испытал таких нежных ласк, какие дала мне Нилова, женщина, которую ты считаешь ничтожеством. Да, я не революционер, но как все люди, я прикован к тяжелой колеснице жизни цепью необходимости. И — ты врешь! — я честно, в меру сил моих, исполняю мой долг. Ты этого не делаешь, твой долг — родить детей, а ты подло сделала выкидыш для того только, чтоб ребенок не мешал твоим наслаждениям козы.

Самгин впервые испытывал удовольствие гнева; никогда еще злые слова не слагались так легко в стройную речь, он быстро снизывал их одно с другим и уже любовался этой работой возбужденного чувства.

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 22-1-4, 59822, стр. 51—53; ср. т. 20, стр. 398—400.

〈ПОСЛЕ АРЕСТА ЛЮБАШИ СОМОВОЙ〉

〈...〉 она 〈Варвара Самгина〉 тревожно спросила:

— Но где же Гогина? Она сказала, что ночует...

На этот вопрос ответ принесла Анфимьевна, она только что воротилась с базара и, войдя в столовую, тотчас же заговорила одобрительно:

— Постоялец-то, Иван-то Петрович, глядите-ко, молодец каков! Танюшу-то Гогину увел к себе, она у него всю канитель и переждала. Со мной из дому-то вышла. Вот какой, а? Ему спасибо сказать надо, хотя он и плохо платит за квартиру. Варя, теперь Любаша, думаю, надолго попала, я ее вещи Суслову на чердак снесу, а комнату сдам, так, что ли?

— Да, да, пожалуйста,— торопливо ответила Варвара и снова удивленно воскликнула.

— Нет, каков Митрофанов? Право же, все это точно театр или даже сон.

Клим видел, что Варвара возбуждена радостью, но радости ее не понимал.

— А Суслов вовремя уехал? — говорила она с папиросой в зубах и кривенько усмехаясь.— Я говорю: это очень хитрая лиса.

И тотчас вслед за этим:

— Беспокойна жизнь, но все более интересна.

Клим, промолчав, ушел к себе работать, думая: — Да, как во сне. И вверх ногами... Не жизнь, а—игра в жизнь. [Рабы и актеры].

Он сел к столу, развернул пред собою «Дело» в синей толстой обложке, но тотчас отодвинул его прочь и соскользнул, как в яму, заросшую сорной травой, в хаос бессвязных дум, воспоминаний. Потом вспомнил неуклюжие стихи Инокова:

Иду сквозь жизнь, как верблюд пустыней,
Нагруженный пестрыми коврами верблюд.

[Затем вспомнил серое лицо Дьякона]

Ч. II. Фрагмент — ХПГ, 23-1-3, 59904; стр. 7—8; ср. т. 20, стр. 400—404.

〈САМГИН И НИКОНОВА〉

Несомненно, что она много работает; товарищи, кажется, довольно безжалостно гоняют ее. Она все чаще уезжает, то — в Нижний, то в [Екатеринослав], Тверь, в Орехово-Зуево... и никогда не рассказывает, зачем ездила. Впрочем, он и не спрашивает ее об этом. Удивительно ее спокойное отношение к арестам, это — спокойствие человека, непременно верующего в победу. Но она — осторожна. Тут Самгин вспомнил о бумажке, найденной им в книге и проявленной. Оказалось, что ее сведения неверны: Усов не был арестован. Но когда он сообщил ей об этом, она не удивилась.

— Да? — спросила она, повернувшись к нему спиной, открывая верхний ящик комода. — Но это не моя ошибка, а того, кто дал мне сведения. Не помню, кто это.

Засыная, Самгин благодарно подумал:

— Она примиряет меня с жизнью, да, вот чем я ей обязан. И если б не она, я не так легко [и охотно] содействовал бы работе по организации партии. А ведь я, все-таки, немало помогаю, — решил он вполне убежденно.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-3, 59912, стр. 37; ср. т. 20, стр. 453.

〈ИЗ РАЗГОВОРА САМГИНА И ГОГИНА О НИКОНОВОЙ〉

— 〈...〉 Видите ли, — более решительно заговорил он, — я, в некотором роде, официальное лицо, мне поручено спросить вас: что вы знаете о Никоновой и не замечено ли вами каких-либо... странностей в ее поведении?

— Странностей? Нет, — быстро и тоже решительно сказал Самгин, уже чувствуя, что он говорит так потому, что боится сказать иначе. — Никаких странностей я не замечал. [Очень скромная женщина]. Не хочу



ИНОКОВ

Иллюстрация П. А. Алякринского

к повести

«Жизнь Клима Самгина»

Рисунок карандашом, 1951 г.

Музей Горького, Москва

скрывать... — начал он и тотчас с тоской оборвал себя: — Не надо, не надо об этом!

Но Гогин уже спрашивал:

— Чего не хотите скрывать?

— Моих отношений к ней, — угрюмо сказал Самгин.

Алексей снова и как-то нелепо, с усилием вынул портсигар из кармана брюк, взглянул на него и положил на угол стола.

— Н-да, — сказал он. — А вы не знаете, куда она исчезла?

— Нет.

— Гм.

Гогин, опираясь рукою об угол стола, начал тяжело подниматься. Клим тоже невольно встал на ноги и невольно спросил почти шёпотом:

— Вы, кажется, не верите мне?

Он видел, что Гогин натужно выпрямился, его лицо осунулось, побледнело, он сжал крепко губы, точно удерживая желание сказать что-то, и, кашлянув, сказал:

— Я — плохой... дипломат. Должен сказать, что вы, по-моему, ведете себя не как... человек заинтересованный в том, чтоб выяснить истину... Я уже не говорю: не как единомышленник... или товарищ.

— Позвольте! Какое право, — иступленно зашептал Самгин, наклоняясь к нему.

[— Право? Имею] Гогин взял портсигар со стола, сунул его в карман пиджака и обернулся к Самгину спиною. Тогда Клим [ощущая дрожь] тотчас понял, что нельзя [отпустить его] позволить ему уйти.

— Стойте! — сказал он. — Подождите.

Гогин оглянулся через плечо и снова присел на ручку дивана, согнувшись, глядя в пол, а Самгин, стоя пред ним, зашептал:

— Вы должны понять... Когда любишь женщину и — вдруг... Я так поражен...

Алексей кивнул головою и спрятал руки в карман, а Клим продолжал, наклоняясь [к нему] и чувствуя, что спина его обливается холодным потом.

— Возможно... что это — так! Я вспоминаю один случай...

Гогин молча перевалился на диван и неудобно сел на край его.

Очень быстро, вполголоса и не заботясь о связности, Клим рассказал о Митрофанове, о ключке записки, найденной в книге. Гогин молча выслушал и вздохнул.

— История с этим сыщиком — сомнительна, да и — чёрт с ним! А вот Усов — [это] серьезнее. Он первый возбудил вопрос о ее... благонадежности и вскоре после этого у него были неприятности... очень странные. Но, главное, тут [на днях] недавно были аресты, один рабочий и Поярково... при обстоятельствах, которые более чем подозрительны. Им передан в тюрьму один вопрос, и если они ответят на него отрицательно, тогда... придется признать эту даму — гадиной... [Говоря, он] И встал на ноги, обнажив зубы кривой усмешкой. Самгину показалось, что он вырос, сделался тоньше, а лицо у него точно пылью покрылось.

[— Тут что-то... очень] Не докончив фразу, он спросил:

[— Не знаете, домохозяйин родственник ее?]

[— Вы знали Поярково?]

— Да.

— А она?

— Не знаю]

Не докончив фразу, он пробормотал:

— Эта... крыса много знает. Татьяну усадила в тюрьму, а теперь вот в ссылку, несомненно, она.

— [Она] может много... напакостить, — пробормотал он тихо [задумчиво и] и усмехнулся, обнажив зубы. — [Вероятно, и вам попадет — как думаете?] Она, конечно, не пощадит и меня, — напомнил Самгин.

— Расскажите все-таки о ваших встречах с нею, — предложил Алексей, прислонясь плечом [к двери] [к стене] [Вообще — все, что знаете...]

А когда Клим рассказал, он прошелся по кабинету раз и два, потом, остановясь у двери, сказал:

— Вы, конечно, понимаете, что временно вам нужно отойти в сторону... Не одному вам, разумеется, — прибавил он, как бы утешая и нерешительно почесывая пальцем левой руки ладонь правой. — Самгин стоял пред ним раздавленный и опустошенный, понимая только одно: его тоже подозревают. Так молча и нерешительно они стояли друг против друга с минуту, и Алексей все почесывал ладонь.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 23-1-3, 59914, стр. 10—13; ср. т. 20, стр. 480—484.

«САМГИН ПОСЛЕ РАЗГОВОРА С ГОГИНЫМ, СООБЩИВШИМ ЕМУ
О ПРОВОКАТОРСКОЙ РОЛИ НИКОНОВОЙ»

Самгин в полуобмороке опустился на диван, [швырнув] комкая синюю бумажку. В голове его быстро стучали разные слова:

— Они меня принудят застрелиться... Неужели Мария из-за денег... [Но как я не догадался? Ведь — ясно] Не может быть. Не может быть. Я вел себя идиотом. Они меня замучают.

Пред глазами плавало и таяло мутное пятно лица Никоновой с прямым ртом и то с насильственной улыбкой, то — с другой, доброй и нежной.

— Чтоб она могла из-за денег...

Вошла Варвара в шляпке, с зонтиком.

— Что с тобой? — спросила она, широко открыв глаза, — он кивком головы показал ей на телеграмму.

— Ах, вот что! Но [ведь] ты относился к нему иронически?

— Иди, — грубо сказал он, отмахиваясь от нее рукою.

— Удивительно, — пробормотала Варвара и, — помолчав: — Ты переутомлен. У тебя совершенно невозможное лицо. Кажется — ты заболел.

Говоря, она пристукивала ручкой зонтика о стол.

— Иди, прошу тебя, — повторил Клим.

Весь день, до вечера, он в полувменяемом состоянии сидел и лежал в кабинете, ожидая, что придут еще какие-то люди и станут допрашивать его с таким же тупым недоверием, так же оскорбительно, как Гогин. А ночью, [сидя] в вагоне у окна, следя, как в темноте мелькают, расплываются, ничего не освещая, желтые и желчные огни, качаю(т)ся черные остовы деревьев, размахивая ветвями и точно подгоняя поезд, — он думал:

— За что? Почему?

Он чувствовал себя трагическим человеком, которого с детства насиловали, уродовали. Отец пытался сделать из него чудо-ребенка, «вундеркинда», учитель Томилин — философа, гимназия — дурака, — он так и подумал: дурака. Нехаева искала в нем декадента, такого же, как сама она. Чего хотела [от него] эта, теперь несчастная, пришибленная жизнью Лидия, отравлявшая его нелепыми вопросами? И — так — все. Кажется, только один Кутузов советовал ему: не делай, чего не можешь. Что-то в этом роде сказал он. Варвара поняла, что, привыкнув к насилию над ним, он сам стал насиловать себя.

— Никонова, конечно, только раба, ее тоже загнали в угол. Может быть, она, искусно и глубоко затаив свое озлобление против

ДРОНОВ

Иллюстрация П. А. Алякринского
к повести

«Жизнь Клима Самгина»

Акварель, 1954 г.

Музей Горького, Москва



насильников, мстила им, как могла. Это — вполне допустимо. Даже наверное — так! — почти решил он.

— В конце концов — совершенно естественны люди, которым так ненавистна жизнь, что они [органически] не могут [принять] участвовать в ней. За ними право ничего не делать, — размышлял он в ритм покачивания вагона и в созвучии с каким-то визгом под полом его: — так, — так

— Риго-иго, иго-риго, иго-иго-так.

— Таких людей, как я, наверное много. Они — должны быть, не могут не быть, — пытался он успокоить себя и не мог. Воображение рисовало какую-то комнату, в ней сидит этот проклятый щеголь Алексей Гогин и, с насмешечкой, рассказывает угрюмым людям, с безжалостно упрощенными оценками, о своей беседе с Климом Самгиным.

— Он, конечно, говорит, что я растерялся, струсил, что мне было жалко любовницу и я не сразу сказал правду о ней, потому что хотел прикрыть ее. Возможно, что он изобразит меня соучастником Марии.

Больно стукнув себя кулаком по колену, Самгин мысленно крикнул:

— Напрасно рассказал, напрасно, дурак! Все это — ничтожно, это — не улики!

Он снова задумался о себе. Вот уже несколько лет он живет в пыльном вихре на перекрестке двух улиц, не имея желания идти ни по одной из них.

Ч. II. Фрагмент. — ХПГ, 22-1-5, стр. 1—3; ср. т. 20, стр. 483—485.

«ДОКТОР ЛЮБОМУДРОВ И СУПРУГИ ФЛЕРОВЫ»

В квартире Варавки жил овдовевший доктор Любомудров и его друг Флёров. Доктор сильно постарел, высох, но [как будто] стал бодрее, утратил свое ленивенькое скептическое безразличие человека, утомлен-

ного долголетним зрелищем людских страданий. Посматривая на Самгина вспоминаящим взглядом прищуренных глаз, он бесцеремонно рассуждал:

— Н-да, поговорка: «Ворон ворону глаз не выклюет», — оказалась неверной в случае Варавки. Радеев-то перепрыгнул через него в городские головы. Устроил из интеллигенции трамплинчик себе и — перепрыгнул. Жуликоватый старикан [ловкий]. Вы — что, не большевик, случайно? — спросил он Самгина.

— Что значит — случайно? — уклонился Клим [от прямого ответа], но доктор, видимо, не очень интересуясь ответом, говорил, барабанил по голому черепу [желтыми] пальцами в ожогах иода, [раздумчиво улыбаясь, говорил:]

— Тут бывал большевичок один, н-да... Эдакий бородач [молодчина]. Напомнил мне одного товарища народовольца. Постепенность, — говорит, — не отрицается историей экономического развития, но процесс этот ныне идет с чудовищной скоростью и командует нам: не зевай! [Простая] Верная мысль, а?

В том, как доктор [не торопясь] выколачивал из черепа [сиповатые] слова, в сиповатом голосе его и вспоминаящих глазах было нечто комическое и надоедливое.

— Террор, н-да... Ну, это — изводить бактерий по одной штуке, как блох. Конституционалисты-демократы... Пр-рофессор Сеченов сказал о Вирхове: Хороший ученый не может быть хорошим политиком, для него болезнь интереснее больного. А Вирхов-то был живой, универсальный человек. [Хотят пенку снять с интеллигенции. Ну, что ж...] По духу мы, русские, едва ли демократы, чего-то не хватает. Я это чувствовал, когда еще народовольцем был. Да и преобладающее население страны — нищие, а нищий какой же демократ?



МАКАРОВ

Иллюстрация П. А. Алякринского

к повести

«Жизнь Клима Самгина»

Акварель, 1954 г.

Музей Горького, Москва

Сначала Самгин слушал бессвязные речи доктора как старческую болтовню, потом с удивлением подметил в ней отзвук [«кутузовщины», которую теперь называли — большевизм] явного сочувствия большевикам, а вскоре убедился, что старик содействует местной группе большевиков. Три комнаты своей квартиры доктор сдал супругам Флёровым, странно похожим [на брата и сестру] друг на друга, хотя внешнего сходства между ними не было. Муж — невысокий сухонький человек, [корректный, как петербургский чиновник] лет сорока, на желтом [лимонном] его лице, под стеклами дымчатого пенсне строго поблескивают очень живые глаза, лицо искусно сложенное из мелких черточек, очень подвижно, можно было ожидать, что человек этот говорит высоким голосом бойко, а он говорил мягким баском, медленно и немножко заикаясь. Жена похожа на попадью, синеглазая, толстенькая [добродушная] брюнетка с круглым лицом и большой, гладко причесанной головою; голову почти уродливо увеличивала копна волос, заплетенных в косу и старомодно уложенных на макушке калачом. Она служила фельдшерцей в детской палате земской больницы, муж сочинял популярно-научные брошюры по медицине и работал над книгой «Социальные причины психопатологических болезней».

— П-почти все ф-формы психических заболеваний о-объясняются насилием над волей людей,— говорил он, а жена тоже баском подсказывала:

— Биологически и социально унаследованный опыт человека не находит достаточно широкой и свободной сферы применения...

— Именно,— утверждал муж.— Труд и творчество осквернены, изуродованы бессмысленной и цинической эксплуатацией.

— Человек принужден жить в себя. Действия человека подневольны, он вынужден жить в себя и в себе, а не в мире,— продолжала София Флёрова. Авдей Флёров согласно кивал головою.

— Вот. Факты вырождения, дегенерации являются результатами или пресыщения воли командующих или голодом воли к деянию подчиненных...

— Сущест<вующий> соц<иальный> порядок может создавать только люди атрофированной или гипертрофированной воли...

[— Атрофия воли как и гипертрофия]

— В<от>-вот. [И когда говорят о героях]

Вот в этом единогласии и заключалось сходство супругов, сходство настолько сильное, что Самгин переставал замечать их физическое различие. [Казалось, что они говорят не двое, а один]. Закрыв глаза, можно было думать, что говорит один человек, невыносимо скучный и как бы запертый в какую-то клетку. Даже и не человек, а решето, отсеивающее слова только одного порядка.

— Маньяки,— решил Самгин, живя [в беспокойном и тупом] [ожидании] предчувствии новой неприятности, в скучных деловых разговорах с матерью, раздражаемый навязчивым Аркадием Спивак, обидно сочувственными взглядами Елизаветы Львовны и болтовней доктора.

Ч. II. Фрагмент.— ХПГ, 23-1-3, 59915, стр. 6—8; ср. т. 20, стр. 499—501.

«ИНОКОВ В 1905 ГОДУ»

— Я, по глупости, на шпиона наскочил,— рассказывал он посмеиваясь.— Шел ночью,— бьют человека, ну, и я попал «в число драки». Потом он мне говорит: «Вы, стало быть, революционер». Почему? «Защитаете человека незнакомого и не нужного вам». Вот, думаю, хорошая мысль. Подружился с ним. А через шестьдесят девять дней он, подлец, продал [меня и еще] пятерых...

Закурив чрезвычайно вонючую папиросу, он, прищурясь, посмотрел в серый дым и сказал:

— Неглупая бестия. Поляк. На русских смотрел сверху вниз. Вы, говорит, как решето, муку отсевааете в пустоту, а отруби остаются вам. Если б то хорошее, что вы говорите людям, оставалось в вашем сердце, вы были бы лучше.

— Да, это не глупо,— согласился Самгин, а Иноков неожиданно заключил:

— [Я нахожу что] Негодяи вообще хорошо философствуют, особенно же ловко о морали.

— Вы — эсэр? — спросил Клим.

— Ну, зачем же? — сказал Иноков.— Нет, я тянул к эсдекам, но у них беки-меки, ссоры, и, потом, я Маркса не люблю, обижают меня Маркс, винтиком в непонятной мне машине не хочу я служить. И террор не по душе мне. Убивают потому, что ничего лучше не могут сделать.

— Значит — анархист?

— Да. [Плохо?]

Самгин, подумав, ответил:

— Это, кажется, всего более [идет...] по натуре вам.

— [Ну, да,— сказал] Иноков и, сунув руку в боковой карман пиджака, поставил на стол какую-то вещь.

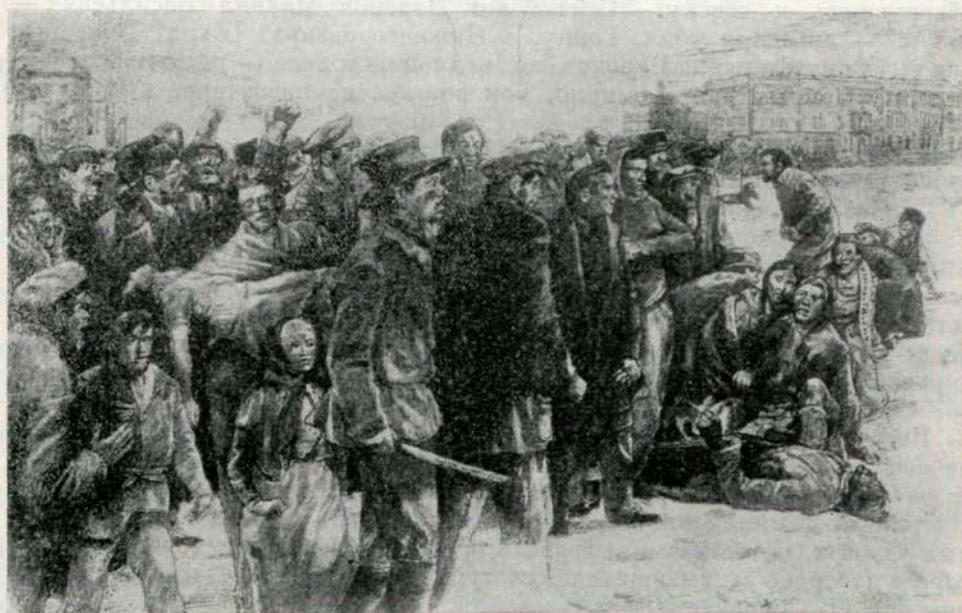
— Вот вам. Помните, я у вас пепельницу сломал?

Ч. II.— ХПГ, 22-1-1, папка 1, стр. 27—28; ср. т. 20, стр. 570.

〈РАЗГОВОР САМГИНА И ДРОНОВА В 1905 ГОДУ〉

Визгливо посмеиваясь, гримасничая, он 〈Дронов〉 говорил:

— Я, все-таки, мужичок, реалист; значит, мне надлежит быть эсэром,



«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»

Иллюстрация чешского художника И. Лизлера
Цветная гравюра

Maxim Gorkij. Život Klíma Samgina. Praha, 1957
Фронтиспис второго тома

а ваш брат, большевички, интеллигентская организация, романтики, заговорщики.

— Большевики скоро будут партией,— солидно заметил Самгин.

— Ни-икогда! — воскликнул Дронов с уверенностью, очень похожей на ужас, но — тотчас прибавил: — Т. е. может и будут партией, только повиснут в воздухе, потому что Россия вовсе не безумная страна.

— Безумная, — сказал Самгин, не сдержавшись.

Дронов очень пытливо и даже нагло заглянул под очки его — и спросил:

— А не со страха они храбрятся?

Этим он выдал себя Самгину.

Ч. II.— ХПГ, 22-4-1, 59820, папка 2, стр. 9; ср. т. 20, стр. 557—558.

«САМГИН ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ 1905 ГОДА В ПРОВИНЦИИ»

Он пошел домой опустевшим садом, детей и няnek не было в саду, кое-где на скамьях сидели, точно воробьи, старенькие люди; желтый лист тополей плавал по черноватой воде пруда; осторожно щупая землю ногами и палкой, шел полуслепой генерал Каргер. У ворот сада стоял извозчик, поправляя шлею.

— Домой? — тоном знакомого спросил извозчик. — Полтинничек. По Дворянской не проедем, надо в объезд, — предупредил он, влезая на козлы. — Что ж это делается? — спросил он, усмехаясь, мигая серыми глазами.

— Люди радуются свободе, поезжай, — ответил Самгин ворчливо и неохотно; лошадь, тряхнув головою, пошла, но извозчик потянул возжи.

— Стой, matka! Это — к чему же — свобода? — строго спросил он, обернувшись к седоку. — Сейчас вот Воронов Михаил Васильевич — знаете? — аптекаря убил, Гейцу, с Нижнего базара. [Ехал] Гейц [вот как вы] на извозчике, а Воронов его [палкой по голове — и мозги вышиб — каюк...] Ехал аптекарь смирно, как вот вы, на извозчике, а Воронов, мать...

Выругавшись, извозчик ненужно хлестнул лошадь кнутом, она испуганно дернула. Самгин, покачнувшись, оглянулся и сказал:

— Поезжай скорее.

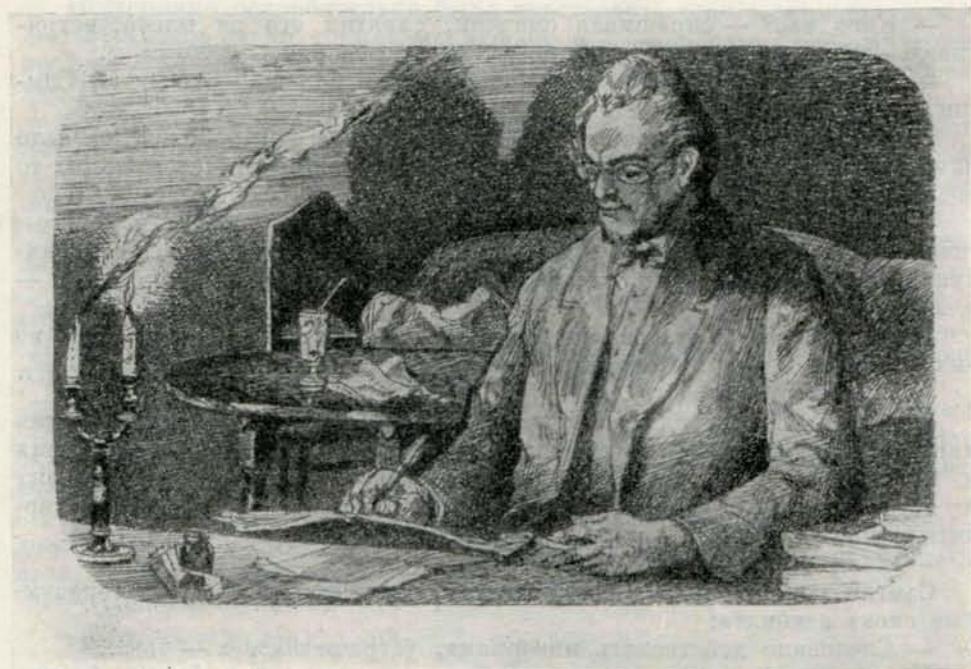
— Ехать можно, — почти крикнул извозчик и продолжал, перебирая вожжи. — Ежели свобода, чтобы Воронову, кудрявой роже, людей убивать ну — покорно благодарю! Я Гейцу знал, да! Это — не Воронову чета, мать... Это барин хороший был. Они, хозяйева, иконами-то прикрылись — зачем? Они, там, в часовом магазине стекла выбили, приказчика окровавили. Лошадей [пугают...] палкой по мордам. К чему это — озорство? Свобода. Нет, господин Самгин, что не хорошо...

Извозчик говорил непрерывно и все ворчливее, а Самгин молчал, не решаясь верить ему. За что могли убить аптекаря? Самгин изредка встречал его у Спивак, видел на собрании, где рассказывал о январе. Настоящая фамилия аптекаря — Гейнце, это обрусевший немец, скромный человек, очень известный своей работой в культурных учреждениях города [усердно занимавшийся культурной работой, но едва ли революционер...]

— Глядите, народ-то бежит, — беспокойно сказал извозчик, взмахнув кнутом.

— Ну, где же бежит? — возразил Самгин, успокаивая себя.

В переулочек не бежали, а пятились, шли задом наперед группы людей, а вдаль, в горле переулочка, на улице, темнея и вспыхивая, плыл красный флаг, узкий и длинный, точно язык. Оттуда доносилось угрюмое и гроз-



КЛИМ САМГИН

Иллюстрация чешского художника И. Лизлера к повести «Жизнь Клима Самгина»

Гравюра

M a x i m G o r k i y. Z i v o t K l i m a S a m g i n a. P r a h a, 1957

ное пение. По угрюмому мотиву Самгин узнал: «Вы жертвою пали...» Извозчик придержал лошадь.

— Ну, ехать некуда, лошадь испугать могут, назад надо. Эх...

[— Церковным переулком поезжай, — приказал Самгин, и с этой минуты началось нечто, о чем он долго вспоминал, морщась и вздрагивая от ужаса.] Откуда-то явился адвокат Правдин, рукою в рыжей перчатке схватил Самгина за рукав и [почти закричал] забормотал:

— Пожалуйста, — уступите извозчика, тут дама, истерика, ужасная затея, мальчишество...

Дама оказалась знакомой, это благодушная старуха Пельмова, ее вели под руки, большое лицо ее дрожало, таяло слезами, глаза выкатились.

— Остановите их, — кричала она. — Я — не могу. Мы не во Франции, о, господа...

По переулку, в сторону красного флага, стремительно бежали рабочие, железнодорожники.

— Т-товар-рици, — радостно ревел длинный чумазый смазчик, выбрасывая ноги, точно конь. Он подхватил Самгина под руку, увлек его за собою и втиснул в толпу демонстрантов. Демонстранты стояли, окружив Корнева и какого-то кривастого, высоколобного бородача, который, держа знамя на длинном древке, размахивая им, кричал гулко:

— Н-не уступать! К чёрту...

Рядом с Климом очутился Правдин; задыхаясь, он тоже кричал:

— Господа! Товарищи! Подумайте — к чему приведет нас демонстрация бессилия...

— Кого нас? — спрашивал смазчик, схватив его за плечо, встряхивая. — Эх, ты, нос... Иди на печку, жене под бок.

— Тоже человек триста, ну — пятьсот, не больше, — сосчитал Самгин. — Семь флагов.

Толпа была тоже пестрая и хотя преобладали в ней рабочие, но было много интеллигентов, а в хвосте ее с полсотни гимназистов и каких-то подростков.

— Стройся по шести в ряд, — командовал, крича в кулак и подпрыгивая, коренастый человек в черной рубаше с разорванным воротом [взмахнув шапкой] неожиданно сильным и резким голосом. — С оружием — к знамени.

Люди быстро перетасовались, все флаги окружили знамя, один из них оказался в руках Корнева. Корнев взмахнул им и зашел:

— «Вы жертвою пали...»

Голос его подхватили еще десятка два голосов, но угрюмый мотив марша почти потонул в тяжелом и грозном топоте ног, в рукоплесканиях и криках зрителей, торчавших, как в ложах театра, в окнах, дверях и воротах домов. Самгина взял под руку Правдин. Он уже снял перчатки, шляпу сунул в карман. Ведя Клима по панели, он говорил:

— Если бы собрались тысячи, ну — тогда...

Самгин покорно шагал глядя вперед, машинально ловя благоразумные слова адвоката:

— Следовало действовать наверняка, устрашающе, а — так...

На скрещении двух улиц колыхались трехцветные флаги, блестяли квадраты икон, визжали, свистели люди, густые голоса нестройно ревели:

— «Побе-еды бла-го-верно-му-у...»

— Чёрт побери, — проговорил Правдин, а Корнев, взмахнув флагом, пронзительно зашел, ускоряя шаг:

— «Отречемся от старого ми-ир-ра...»

— Дуррацкая штука, — сказал Правдин, — у меня... ботинок развязался, — объяснил он, приподняв ногу, спрятав ее под пальто. — Здорово наши поют, — с восхищением сказал он, — хотя цели нестройно и как будто неуверенно или даже нехотя. — Войственно! — и предложил: — Зайдемте сюда, я поправлюсь.

— Хитрый, — одобрительно подумал Самгин, идя за ним в дверь магазина дамских мод, где толстая и красивая дама в пенсне встретила Правдина радостным восклицанием:

— Ах, Семен Федорович! Что же это у нас делается? Мои девушки с ума сошли, даже магазин запереть некому...

Ч. II. — XIII, 22-1-4, 59820, папка 2, стр. 38—41; ср. т. 20, стр. 572—579.

* * *

В саду кто-то кричал:

— Неорганизованные выступления преступны... [Вы за это ответите].

— Ступайте вы к чёрту, — сказал Дунаев за спиною Клима, сказал, как всегда, ленивеньким и насмешливым голосом. Дунаев, кожаный и лоснящийся, стоял у решетки сада, записывая что-то карандашом на полях газеты, записывал, поглядывая в небо, шевеля бороною.

— Следующий, — крикнул доктор.

Спивак помогла человеку встать, но его ноги подломились, он повис на руках ее и застонал.

— Помогите же! — гневно крикнула Спивак. Клима подхватил человека под мышки и, слыша как тот скрипит зубами, сам крепко сжал зубы.

Нестерпимо оскорбительно было чувствовать себя чужим среди этих людей, чужим как-то по-новому, обидно и без гордости своей отчужденностью. Он прошел в сад, там, не замечая, что дождь усилился, человек десять яростно спорили, не слушая друг друга.

— Что вы доказали этим высту́плением? — кричал горбоносый, лохматый человек, взбивая волосы ладонью.

— А вот то, что мы существуем, — ответил Дунаев как-то через голову оппонента, мимо его.

Какой-то худенький, но широколицый, похожий на вешалку для платья, юноша в парусиновой паре кричал:

— Неверно-с! Человек может быть по природе умен, но социально, — глуп; это обычное явление...

[А к нему наклонялся высокий, тонкий] Тогда Самгин, подчиняясь вдруг возникшей необходимости, тоже закричал:

— Позвольте! Демонстрация... оправдана. Если с их стороны выступают... мужественно выступают, да, да! — слепые старики, а городской мелкий обыватель остается равнодушным, все еще не может понять значение событий...

Он тотчас понял, что готов сказать нечто еретическое, но, на его счастье, дождь посыпался более густо, люди бросились в беседку, на двор, и Дунаев, отходя, проворчал:

— При чем тут обыватель?

Там же, стр. 48—49; ср. т. 20, стр. 572—579.

«ПОХОРОНЫ КОРНЕВА»

«...» к выносу гроба из больницы явился отряд полицейских, двенадцать человек, и Самгин отметил, что на солдатах шинели и фуражки старые, а перчатки новенькие. Желтолицый помощник пристава приказал убрать красные ленты и предупредил: никаких речей не будет допущено. По улицам до кладбища посты пеших городовых были усилены конными. [Это было не нужно, провозжать] Гроб Корнева провозжали ровным счетом двадцать семь человек, еще десятка два шагало по панелям, стараясь показать полиции, что они не имеют отношения к печальной процессии. Сначала Самгин попробовал возмутиться этой осторожностью, но тотчас решил, что она вполне уместна: зачем бравировать, показывая себя сыщикам? Закрытый гроб несли наборщики типографии «Нашего края». Шла Спивак, под руку с доктором Любомудровым, незнакомая Климку девушка в темном платье и широкой соломенной шляпе, каких никто не носит, поля шляпы совершенно скрывали ее лицо. Спивак шла несвойственно ей театрально, вызываясь вздернув голову; казалось, что она постарела лет на пять, лицо ее странно расплылось, а глаза сумасшедшие. Доктор, спотыкаясь, сердито тыкал палкой в камни мостовой. Солидно шагал редактор, зачем-то обмотав шею кашне, шли сотрудники, Самгин поискал Дронова и увидел его на панели. Дронов был нетрезв или болен, лицо в красных пятнах и на губах застыла кривенькая улыбка человека, чем-то сконфуженного. По улицам бесприютно метался сыроватый ветер и срывал с деревьев желтый лист, бросал его под ноги людей.

Рядом с Климом по панели шагал Правдин, рассказывая:

— Череп совершенно разбили, так, что лица — нет...

Встречные обыватели, обнажая головы, крестились, но некоторые, замечая, что похороны без священника, разглядывали провожатых, недоброжелательно морщась. Глядя на гроб, Самгин думал: «Это могло быть и со мною. Могло».

Солидно покашливая, Правдин, вооруженный толстой палкой, говорил вполголоса:

— Я понимаю: «Запрос в карман не кладется», — но все-таки большевики чересчур много запрашивают.

Печаль серенького дня и печаль этих похорон «без поа, без церковного ладана», тишина в городе и топот людей, которые как будто навсегда уходили из города вместе с этим желтым гробом, — все это вызывало ощущение нервной щекотки в горле и в то же время успокаивало предчувствием конца всех тревог. [Было много такого, что говорило Самгину, что конец близок]. Он особенно сильно почувствовал это, когда вошел в ограду кладбища и вслед ему раздались ритмические удары деревянного молотка бондаря, бондарь как будто заколачивал невидимые ворота в город, отнимая у людей, провожавших Корнева, возможность возвратиться назад.

Было много такого, что убеждало Самгина, что конец — близок. Можно было почти восхищаться уверенностью в незыблемости привычного порядка жизни, уверенности, которую обнаруживало подавляющее большинство обывателей. Они как будто даже хвастались друг перед другом спокойствием своим и своей способностью быстро забывать пережитые страхи и волнения.

Человек, о котором Спивак сказала, что его зовут Антоном, что он бывший студент-математик и бывший ссыльный, снова надел траурно-черную сатиновую рубаху и, пощипывая жесткие усы, обнажая неприятно крупные, очень белые зубы, ворчал:

— Русский человек скоро устает, он, морда, отдыхать любит. Его надо непрерывно под мышками щекотать, чтоб он до конституции дошел, а уж дальше...

— «Не дальше конституции», — вспомнил Самгин горячий шепот полковника Васильева и, улыбаясь, спросил:

— Вы не марксист?

— Марксист, но по-европейски, — нелюбезно и даже грубо ответил тот.

Этого парня, крепкого и ловкого, точно артист цирка, Самгин считал тоже «революционером только до конституции». Он был уверен, что Антон бежал из ссылки, но — как многие — сами бегут и других гонят встречу будущему для того только, чтоб скорее разминуться с событиями. Но Клим не имел оснований осуждать людей за это, понимая, что вот уже почти десять лет они — так же, как он — живут нестерпимо тревожно, и это дает им — так же, как ему — законнейшее право на отдых.

Ч. II.— XIII, 22-1-1, 59820, стр. 52—55.

<1905 ГОД. КЛИМ ПЫТАЕТСЯ РАЗОБРАТЬСЯ В СВОИХ НАСТРОЕНИЯХ>

[Эта] Самгин был уверен, что эта картина <воображаемая картина крестьянского восстания.— *Ред.*>, мрачная и необыкновенно красивая, возникла пред Самгиным сама собою, даже не потребовав усилий его воображения. Она была грандиознее той, которую он создавал года три тому назад, о которой рассказывал Дьякон. Самгину казалось, что ее рисует для него широкой огненной кистью не та стихийная сила, о которой говорили и писали, не сила восставшего народа, а какая-то иная, сверхчеловеческая, исходящая от раздраженного космоса. Заразив людей безумием разрушения, она как бы издевается над людьми. Это были мысли совершенно новые для Самгина. Они смущали его, когда ему казалось, что становится мистиком, и радовали, когда ему казалось, что в нем

разгорается дарование художника. И с каждым днем люди в глазах его становились все более мелкими, незначительными, чем дальше, тем все менее мог он думать о них, как о творцах событий. Точно льдины во время ледохода, события хаотически громоздились одно на другое, и также хаотически кипели; разбухали мелкие мысли Самгина. Но он уже не считал их мелкими, не находил, что они ставят его ниже действительности, как, иногда, он это чувствовал. Нет, теперь они, поднимая его над действительностью, создавали настроение совершенно незнакомое, не испытанное им настроение.

— Не становлюсь ли я мистиком и анархистом? — спрашивал он, не узнавая себя; он никогда еще не ощущал себя настолько свободным человеком, человеком «в своих руках», как однажды сказал о себе Лютов. Но гораздо чаще ему казалось, что в нем растет, разгорается дарование художника, не зависимого от действительности, художника, для которого все в мире — равноценно, все — только материал для творчества и ничто ему не противоречит, потому что его талант всем властвует.

Ч. III— ХПГ, 17-1-1, 19982, стр. 41—42; ср. т. 21, стр. 35.

«ВСТРЕЧА САМГИНА С ДУНЯШЕЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ»

У крыльца в синеватом сумраке стоял, разговаривая с полицейским, большой, солидный человек в цилиндре, похожий на извозчика. Сняв цилиндр, держа его над плечом, он заговорил с Климом о похоронах.



КЛИМ САМГИН В ДЕТСТВЕ

Иллюстрация румынского художника
Ж. Перахима к повести
«Жизнь Клима Самгина»

Рисунок карандашом

Выполнен для издания:

Maxim Gorchi. Vista lui
Clim Samgin. București.
1951—1953

Музей Горького, Москва

Самгин сказал, что это его не касается, и шагнул на улицу, но за спиной его явилась Дуняша, спрашивая:

— Гробовщик, что ли? Скажи, чтоб подождал.

Она потянула Самгина за рукав, отвела за угол дома, в маленький садик, усадила на чугунную скамью и, отирая мокрые глаза, вздохнула.

— Ох, боюсь за Алину! Что с ней будет? Сопьется она. Лютов был для нее и отцом, и братом, и мужем.

— Макаров, — напомнил Самгин.

— Ну, мямля такая! Ах, боже мой, боже мой... Ты куда пошел? Ты не уходи. Поможешь в чем-нибудь. Макаров не справится. Алину нельзя оставлять одну. А мне надо сбегать...

Она встала и, поглаживая ладонью, тихонько, очень просто сказала:

— К мужу. Я уж не холостая, с Иноковым сошлась. Он мне много рассказывал про тебя. Я ведь для тебя удобным случаем была... Тебе обижаться не на что, верно?

— Ошибаешься, — сказал Самгин почти искренно и с чувством обиды.

— Ну, полно, я знаю, — откликнулась она, встряхивая золотистой головою. — Ты не обижайся, правду-то надо сказать: ты мне как муж только неприятности говорил, только дразнил, а не учил. А Иноков, он как товарищ и обласкал, и учит... Он бежал из России.

Самгин сердито оборвал ее речь:

— Свернет тебе голову, доведет до тюрьмы, а то...

— Вот и опять дразнишь! — тихонько и удивленно [вскричала] сказала Дуняша. — Это ты просто из самолюбия. — Похлопав легкой рукою по плечу его, она продолжала [улыбаясь]:

— Если б ты меня немножко любил, ну, тогда тебе было бы обидно, а мне — не [ловко] хорошо, а я не чувствую, что нехорошо мне. — И, надавив на плечо его, как бы прикрепляя к скамье, она быстро убежала.

Самгин нахмурился, глядя, как легко мелькают ее ноги, потом, закрыв глаза, вяло подумал [с вялой досадой]:

— Прямодушная бабенка.

Ч. IV. Фрагмент. — ХПГ, 27-2-1, 70026, стр. 26—27; ср. т. 22, стр. 30—32.

«САМГИН ВОЗЛЕ МЕРТВОГО ЛЮТОВА»

— Люди его типа и вообще различные чудачки — наиболее лишние люди. В них есть что-то обманное. Внешне, в словах — цветисты, а какое практическое значение может иметь это качество? Кажется, что их воспитывает не жизнь, а наши литераторы [тоже чудачки], тоже чудачковатые. В Лютове было что-то от мелких героев Достоевского, вроде Прохарчина.

Тут Самгин, привыкнув следить за собой, почувствовал, что думает о Лютове мстительно [и], поправив очки, посмотрел на [виноватое] серенькое лицо — и ему показалось, что губы Лютова выпрямились, не улыбаются. Возвратилась Алина, отирая [виски] глаза и щеки [свежим] платком, взмахнула им, и рука ее бессильно повисла вдоль тела, в другой руке она держала флакон духов и пульверизатор.

— Как же я буду жить? — спросила она довольно громко. — Ничего не умею, бездарна, глупа.

— Ты клеветешь на себя, — пробормотал Самгин.

— Люди противны мне, — заговорила она, согнувшись, опрыскивая Лютова духами; пышные волосы ее рассыпались. Самгин вспомнил ее

красивой девочкой. Вот она декламирует стихи Брюсова, вспомнил молодой женщиной, в тот день, когда она пожаловалась на тяжелое бремя своей красоты. Потом в памяти его развернулась картина ее триумфа в каплице Шарля Омон.

Ч. IV. Фрагмент.— ХПГ, 27-2-1, 70026, стр. 29—30; ср. т. 22, стр. 32—33.

〈ИНОКОВ В ЭМИГРАЦИИ〉

Самгин спросил: давно ли он здесь?

— Третью неделю. Едва выскочил из-под вешалки. Вы — по партийным делам?

— Отдыхаю.

— Невредно. Хотя здесь для отдыха место мало удобное. Такую говорильню развели — обезуметь можно. Одни — каются, другие — заикаются, а толково выговорить ничего не могут. Не хватает им чего-то, не то — смелости, не то — совести.

Улыбаясь, показывая крепкие белые зубы, он продолжал:

— А туземцы-то, как смирно живут, а? Самоуверенный народ. Время здесь течет неестественно медленно — перегружено толстыми, — замечаете, сколько толстых-то?

Говорил Инокков добродушно-ворчливым тоном, но и тон и упрощенность его речи показались Самгину искусственными. [Вообще Инокков был чем-то непохож на того человека, каким знал его Самгин, и это возбуждало интерес к нему].

— Вы — анархист? — спросил он Иноккова; — тот, снимая локти со спинки скамьи, крепко толкнул Самгина в бок и, не извиняясь, раздумчиво заговорил:

— Действовал с ними. Но я ведь по натуре дровосек, дроворуб, а не теоретик, у меня к словам доверия нет. Героям — тоже не доверяю. [Он усмехнулся]. Самгин усмехнулся:

— Не доверяете, потому что:

«Никто не даст нам избавленья
Ни бог, ни царь и ни герой?..»

Но ведь это тоже слова.

— И не очень удачные, — сказал Инокков, почесывая лоб с левой стороны как бы для того, чтоб Самгин заметил, что из-под волос на бровь опускается красный шрам.

— Показывает боевые отличия, — понял Самгин, ожидая, когда этот человек заговорит о встречах в [поезде] России при странных обстоятельствах. Как будет он говорить об этом? [Но] Инокков, подобрав ноги, продолжал все так же ворчливо и мягко:

— Нет, я на героев разного роста в натуре наглядился. Ну, и читал, конечно. Кропоткина читал. Трогательно пишет, а разницу между ним и Толстым — плохо вижу. С Толстым дважды беседовал, был у него с одним анархистом. Старичок капризный, а — невнушительный. По-моему: ум [ишко у н]его не по таланту мал и назойливостью своей только мешал огромному таланту. [Мешал. Вся эта его философия — китайская чепуховина, не в обиду сказано]

— Это вы очень... смело, — заметил Самгин, и подумал: — А, пожалуй, [он правильно] о Толстом — верно. [Впрочем, не ново].

— [Штирнера читал, — вздохнул]

Инокков вздохнул, зажег спичку, закурил и, глядя на огонек, усмехнулся:

— Штирнер, по-моему, мыльный пузырь надувает, вроде юберменша Ницше. Равашоля могу понять, но не одобряю.

Бесшумно подходила Дуняша, рыжая голова ее красиво и любовно освещена луной.

— Вам, кавалеры, надобно здесь ночевать,— сказала она, садясь рядом с Иноковым.— Доктор опасается, как бы она не сделала чего-нибудь.

— Неудобная женщина,— проворчал Иноков.— Я могу посидеть до половины одиннадцатого.

— А Самгин ночует,— решила Дуняша, он хотел протестовать, но улыбнулась мысль остаться [с глаза на глаз] с Дуняшей, и снова заговорил Иноков:

— Познакомился в Финляндии с Лениным, этот понравился мне. Очень. Его тут ругают: <...> дворянин, картавит по-дворянски, Бакунина разыгрывает. Чепуха всё. [А по-моему] Он — не фанатик, а — математик. Он рассчитывает [просто] и верно: ежели губернаторы издают такие приказы: [Дурново] в Москве — истреблять бунтовщиков силой оружия, потому что судить тысячи людей невозможно, а в Петербурге — холостых залпов не давать, патронов не жалеть, так это значит: правительство объявило войну народу. Ленин и говорит рабочим через эти свинные головы: ребята, вооружайтесь, иначе вас уничтожат, организуйтесь на бой за вашу власть против губернаторов, царя, фабрикантов. Просто и ясно.

— У тебя все просто,— неодобрительно сказала Дуняша.

[—Ну, а как же?]

Иноков вдруг засмеялся негромко и толкнул Самгина плечом:

— Знаете, ее какая-то купчиха в [террористки] секту вербовала...

— Клим Иванович знает, какая,— проворчала Дуняша. Самгин, онемев от удивления, снял шляпу, провел ладонью по голове.

— Террор, это уже чепуховина и для самоуслаждения. Губернатор Богданович убивает 47 человек, в отместку за это убивают одного губернатора, а не 94-х хотя бы. Невыгодно. Получается единоборство героев, дешёвенький романтизм. Ну, на даче Столыпина взорвали человек пятнадцать, что ли. Так ведь Столыпин-то сотни удавил, да еще скольких удавит...

— Бред,— подумал Самгин, внутренне отмахиваясь от речей Инокова, и тотчас же слово это повторилось в нем точно эхо:— Бред! — Но теперь оно относилось к Марине.— Не может быть, чтоб она имела какое-то отношение к террористам. Не может быть.

— А — почему? — спросил он себя, не вслушиваясь в речь Инокова и желая, чтоб этот поклонник Ленина скорее исчез.

— Какая идиотская путаница! — возмущался он, нервно глотая дым папиросы.— Как все это несерьезно, убого...

Сквозь свои мысли он слышал неясное, голубиное воркованье Дуняши и угрюмые, вполголоса, окрики Инокова:

— Брось, не наивничай! Ерунда это...

— Пусть бы, Самгин, на этот идиотский, жирный мир какую-нибудь тьму египетскую или тридцатилетнюю войну, чтобы передрались все рабы и рабовладельцы и осталось на земле одно юношество с отращиванием к прошлому отцов и дедов...

— Свирепый какой,— засмеялась Дуняша.

С крыльца из двери выглянул Макаров и позвал ее, она убежала.